

АЛТАЙ

3/2017



Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

Людмила Рублева



Данилка. 1975.

Шамот, медь, жесть. 57x49x37,5

К 80-летию художницы

Издается с 1947 г.

А Л Т А И



АВГУСТ

3/2017

*литературно-художественный
публицистический
культурно-просветительский
журнал*

16+

ЖУРНАЛ «АЛТАЙ»

№ 3, 2017

Редакционный совет:

Безрукова Е. Е. (председатель совета)
Вигандт Л. А. (главный редактор)
Гришин К. В. (Барнаул)
Есаулов И. А. (Москва)
Жданов И. Ф. (Барнаул; п. Симеиз, Крым)
Кирилин А. В. (Барнаул)
Коржов В. М. (Барнаул)
Костин В. М. (Томск)
Кудимова М. В. (Москва)
Куницын В. Г. (Москва)
Курбатов В. Я. (Псков)
Нифонтова Ю. А. (Барнаул)
Клишина Е. М. (Барнаул)
Пешков А. В. (редактор отдела прозы)
Пономарёв П. В. (выпускающий редактор)
Чернышков Д. В. (Бийск)

Учредитель журнала:

Краевое государственное
бюджетное учреждение
«Алтайская краевая
универсальная научная
библиотека
имени В. Я. Шишкова»

Адрес редакции и издателя:

656038, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Молодежная, д. 5,
тел.: (3852) 36-39-37
E-mail: altai-journal@mail.ru

Верстка:

Майер О. В.

Корректор:

Берглизова Т. П.

Оформление обложки:

Александр Кальмуцкий

Издание зарегистрировано в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ22–00569 от 22 сентября 2015 года.

Тираж 1600 экземпляров. Дата выхода в свет: 25.08.2017. Распространяется бесплатно.

Адрес типографии: ООО «Технопринт». 650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 31г, офис 6, тел.: (3842) 35-21-35, e-mail: fsp-antom@yandex.ru.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций.

Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

При цитировании материалов без согласования с редакцией ссылка на журнал обязательна.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Галина Погожева. Ветер корабельный	11
Кристина Кармалита. «Подобие весны московских улиц...».	
«От люстры до потолка — провод...». «катился шар катился шар	
земной...». «сплетает осень желтые косички...». «Отчего это так	
неспокойно...». «Болеет парус одинокий...». «Возможно ваш	
компьютер заражен». «под звездным куполом-отцом...». «иногда	
происходит со мною...». «со мною происходит что-то...»	51
Нина Ягодинцева. На тоненьком небесном волоске	109

Проза

Антон Лукин. Алеша хороший. Рассказ	5
Марина Кудимова. Уточняющий. Из цикла «Рассказы о партии»	20
Анатолий Кирилин. От осени до осени. (Письма к Мясникову).	
Повесть-эссе	58
Владимир Клевцов. Пан-Паныч. Рассказ	116
Анатолий Бимаев. Золотая рыбка. Рассказ	123
Василий Морозов. Воротник. Рассказ	138
Валерий Марченко. Продажа дома. Рассказ	146

Дебют

Александр Тимошенко. Чистка. Рассказ	39
Николай Половинкин. Стихи. Мальчик веселый с грустным лицом.	
Из <i>Sonnetarium</i> . «Не хорони меня в земле...». «Когда в плацкарте гаснет	
свет...». Кусака Ёко. «Всякий суд со своей колокольни...»	156

Литературное наследие

Георгий Гребенщиков. Пушкин. Лекция. <i>Перевод с английского языка</i>	
<i>Ольги Кудзоевой</i>	162
Георгий Гребенщиков. Бальмонт. Очерк. <i>Публикация Владимира Росова</i>	172

Владимир Росов. «Нам нужен Бальмонт во всех измерениях»	182
Из переписки К. Д. Бальмонта и Г. Д. Гребенщикова. <i>Публикация Владимира Росова</i>	185

К 100-летию Октябрьской революции

Александр Куляпин. Маленький человек в большой истории	202
--	-----

Антон Лукин

Родился в 1985 году в селе Дивеево Нижегородской области. Окончил Ардатовский аграрный техникум. Автор девяти книг прозы. Публиковался в журналах «Огни Кузбасса», «Литературная учеба», «Алтай» и др. Лауреат премии им. Андрея Платонова. Живет в Дивеево.



АЛЕША ХОРОШИЙ

Алексею Симакову, или просто Алеше, как все его называли, было тридцать семь лет. Он был не от мира сего, слабым на ум. Слов знал немного, говорил плохо, с задержкой, чаще объяснялся жестами, когда хотел что-то сказать. Был безобидным, наивным и добрым, как ребенок. Всегда всем пытался чем-то помочь, очень хотел быть нужным обществу. В деревне его жалели и любили за спокойный характер. Зимой с утраца выйдет с ломом и — к магазину лед отбивать или снег кому где почистить, хотя никто его об этом не просил.

— Алеша хороший! — утирал он перчаткой лоб.

— Хороший Алеша, молодец Алеша, умница, — хвалили его бабы.

— Хороший, — кивал он.

Каждый день он закахивал в гости к старику Кондрату. Тот уже второй год как схоронил жену, Агафью. Хорошей души человек была. Тоже, как и Алексей, всех любила и жалела. Скучно старику одному, совсем раскис да к тому же еще и ослеп на один глаз. Тяжело. Поговорить не с кем. Выйдет, бывало, во двор, сядет на завалинку и сидит весь день, на небо посматривая. Молчит.

О чем-то думает. Алеша зайдет, воды натаскает да скотину покормит. Умом невелик, а работать умел. Натаскает из колодца воды в избу, присядет рядом на завалинке и тоже молча на небо уставится. Забьет Кондрат табаку, закурит, прослезится. Правый глаз его почти ослеп и всегда слезился. Протрет его аккуратно уголком платка, вздохнет тяжело и давай рассказывать какую-нибудь историю из жизни. Алеша сидит, слушает. Кондрат мог часами рассказывать о своей долгой работающей жизни. Поговорит, и на душе легко старику сразу. Пускай Алеша и плохой собеседник, больше молчит, но все же приятно, когда тебя слушают. А слушать Алеша умел.

Жили они с матерью вдвоем. Отец погиб на фронте в сорок четвертом году. Алексею тогда одиннадцать лет было. Есть у него еще брат Макар, что на пять лет младше, но тот уже женат и давно живет в городе. Детьми обзавелся. Лизка и Нюрка. Славные девчата, смешные. Лизка на маму больше похожа и глазами, и характером, тихая, скромная, а вот Нюра, та копия Макара: заводная, любопытная, ни секунды на месте не посидит. Давненько Алексей брата не видел, соскучился по нему и с племянками давно не играл. Любил он детей, и они его любили, и животные тоже, никакая собака сроду не гавкнет. Все-таки умеют звери распознавать добрых людей. Умеют.

В том году, уже по осени, к ним в деревню заглянул цыган. Мужчина лет сорока пяти, босой, невымытый и нечесанный, с маленьким мальчиком на руках. Ребенку годков пять было. По смуглому и худому лицу малыша можно было понять, что он голоден. Глаза большие, пугливые. Цыгане заходили в каждый двор, просили помочь кто чем может, но многие отказывали. Недолголюбивают попрошайек, да еще и цыган. Почему-то этот кочевой народ всегда вызывал плохое отношение к себе.

Алексей сидел за столом и хлебал щи, когда в дверь постучали и на пороге показался цыган.

— Добрый вечер, — любезно произнес тот и даже немного поклонился. — Помогите, люди добрые, ради Христа, чем можете, любой помощи будем рады.

Мать протянула цыгану кусок хлеба с салом и угостила мальчика молоком. Гости вежливо поблагодарили и отправились дальше.

За окном уже темнело.

— Ма, — посмотрел Алексей на мать.

— И не проси даже, — ответила женщина, — на ночь не пушу.

Обворует еще.

Алексей догнал цыгана уже на околице, дал ему еще немного еды и снял с себя сапоги. Тот надел их на мозолистые сбитые ноги и поблагодарил от всего сердца. Цыган был так тронут заботой, что прослезился.

— Алеша хороший! — только и ответил ему Алексей.

Долго потом мать бранила его за сапоги. Неприятно было. Алеша никогда не любил, когда его ругали. И всегда, будь он виноват или нет, отводил глаза в сторону и молча кивал. Но поделаться с собой ничего не мог. Жалко ему было цыгана и кроху на его плечах тоже было жалко. Смотреть на них и то было больно. Нищих всегда жалко.

Как-то летом, когда Алексей растапливал баню, мать получила от Макара письмо, в котором сообщалось, что тот через пару дней приедет с Лизкой. Сам-то на ночь, но дочь собирался оставить на месяц.

«... сам бы задержался подольше, но не могу, работа не отпускает. Даст бог, вырвусь на недельку ближе к осени. Лизка пока погостит у вас, с месяцок, потом заберу. Нюра едет отдыхать в пионерский лагерь. Вот так вот...» — прочитала Алексею мать письмецо. — Может, Лешенька, в город поедешь?

— В город?

— В город. С братом. Поживешь месяцок у него. На город хоть посмотришь. В кино сходишь, в музей какой, на троллейбусе прокатишься... Макар за Лизкой поедет, и ты с ним.

Алексей призадумался, взглядом уставился на потолок. Он всегда так, когда о чем-нибудь размышлял, думал подолгу и смотрел вверх. В городе он, и правда, ни разу не бывал, а хочет или нет он в город, никогда не задумывался. Наверное, там все-таки интересно, в городе-то, и брата давно не видел, соскучился ужасно. Хоть с ним поживет.

— Алеша хочет покататься на тро... тро...

— На троллейбусе, — помогла мать.

Алеша кивнул головой.

— С Макашкой я поговорю, — и женщина обняла сына со всей материнской нежностью и заботой. — Город увидишь.

...Алексей стоял на остановке и ждал автобус. Нервничал. Никак не мог дождаться встречи с братом. Мать осталась дома. Наконец автобус подъехал, и из него вышел Макар с Лизкой и Степка Селезнев, тот в райцентр катался.

— Алешка! Алешка! — бросилась ему на шею Лизка. Тот поднял ее на руки и несколько раз подбросил вверх. Подошел Макар, обнялись. У Алексея выступили слезы. Он поцеловал брата и грубыми пальцами протер глаза. Самым тяжелым для него было прощание и долгожданная встреча. Алексей всегда нервничал, но потом быстро приходил в себя.

— Ну, здравствуй, брат, вот и снова увиделись, — улыбнулся Макар. — Как поживаете? Мать слушаешь? Не хулиганишь?

— Н-у-у-у, — замотал головой. — Алеша хороший!

Макар засмеялся.

— Хороший, хороший.

— И Макарушка хороший!

— Ну, — улыбнулся, — стараюсь.

Лизка держалась за дядину широкую ладонь и покачивала его руку.

— Что? Пойдем. Матушка, поди, заждалась? — подхватив баул, Макар кивнул Лизе. — Потопали?

— Потопали, — согласилась девочка, но идти ей не пришлось. Алексей посадил ее на плечи и поспешил за братом.

Мать к тому времени уже накрыла стол. Долго обнимала и целовала сына с внучкой: есть все же радость в жизни. Есть. Живешь обычной тихой жизнью, вроде бы и все хорошо, спокойно. А придут погостить, пусть даже на ночь, до боли родные тебе люди, и такая радость на душе, плакать и смеяться хочется, и понимаешь, ради чего живешь — ради вот этих мгновений. Женщина плакала, но то были добрые слезы, слезы радости. Потом сидели за столом, пили чай и слушали Макара, который интересно рассказывал про городскую жизнь, про цирк, в который он недавно ходил с семьей. Лизка перебивала его, говорила, что видела тигров и медведей. Алеша смотрел на брата и представлял себе тигров, полосатых, огромных и никак не мог понять, как это медведь

может кататься на велосипеде. Переспрашивал брата, но тот лишь улыбался и говорил, что в жизни, мол, все бывает.

Потом Алексей с братом отправились на пруд, порыбачить. Лизка тоже с ними увязалась. Эх, и любил Макар рыбалку, все детство провел на пруду с удочкой. Алеша же сам никогда не ловил. Он предпочитал подолгу сидеть на берегу с рыбаками и молча смотреть на поплавки, словно сам ловит. А с первым уловом кружился подолгу у ведра и, вытащив рыбу, поглаживал ладонью серебристую чешую.

— Хорошая рыба!

Мужики смеялись.

Макар медленно осмотрел пруд, задумался, вспомнились далекие деньки. В небе проплывали пушистые облака и отражались в воде.

— Овечки плывут, — улыбнулся Макар. Он всегда их так называл. Размотав удочку, он закинул ее в воду.

Сидели молча, посматривали на поплавок. Алексей-то мог сидеть так подолгу, но Лизке вскоре стало скучно.

— Пойдем кузнечиков ловить, — предложила она Алексею. Тот согласился.

Макар поймал несколько окуньков. Клевало слабо. Поутру нужно идти.

День пролетел незаметно. Вечером поужинали, поговорили немного. Легли спать. Утром Алексей с Лизкой ушли к старому дубу, что рос возле Воробьевых. На нем висели качели. Воробьев-старший еще по весне смастерил их для своих проказников. Алеша раскачивал племянницу, а та весело смеялась, взлетая вверх.

Покачавшись на качелях, прогулялись немного по деревне, по пути заглянули на луг, где паслось стадо, и направились к дому. Лизка остановилась у плетня и стала срывать ромашки, хотела папе нарвать букет в дорогу, Алеша же зашел в сени. Из избы доносились голоса. Мать разговаривала с Макаром по поводу города.

— ... да пойми ты, не могу я его взять с собою, не могу, — слышался голос Макара.

— Ишь ты, не могу, а ты через не могу, — наседала мать.

— Да куда я его повезу? Ты посмотри на него, люди потом говорить начнут...

— А ты что, брата стесняешься?! — закричала мать. Немного помолчали. — Пускай город посмотрит. Ведь дальше Осиновки нашей никуда не ездил. Чай, ему тоже хочется, интересно... А за Лизкой поедешь, обратно привезешь.

— Да не могу я, мам, не могу...

— Вот заладил свое, не могу, не могу!

— Ну, куда я его возьму? Он что дитё малое. В город одного не отпустишь, мы с Варькой с утра до вечера на работе, нянчиться с ним у меня времени нет. Ну чего он в квартире один сидеть будет? Нет. Ближе к отпуску споемся, посмотрим. Сейчас нет...

Алеша вышел во двор и уселся на скамейку, обхватив голову руками. По щеке скользнула слеза. Слова брата не выходили из головы. Он тихонько замычал. Внутри все сжалось, а сердце рвалось на куски. Было больно.

Подошла Лизка и показала букет.

— Красивый?

Алексей поднял голову, посмотрел на племяшку.

— Это я его папе нарвала. Красивый, правда?

Алеша кивнул, обнял Лизу и заплакал. Он крепко прижимал ее к себе и незаметно смахивал слезинки, чтобы та их не видела.

Ближе к обеду Макар попрощался с матерью и отправился к остановке. Алексей с Лизкой пошли его провожать. Всю дорогу Макар что-то рассказывал и над чем-то посмеивался, но Алексей его не слушал. Он шел и думал совсем о другом.

— О чем задумался? — поинтересовался брат.

— Алеша плохой.

— Почему плохой-то? — улыбнулся Макар. — Натворил, что ли, чего?

Алеша промолчал. Подъехал автобус. Быстренько попрощались, и Макар уехал. Алексей взял Лизу за маленькую ладошку, посмотрел немного на пыльную дорогу, на удаляющийся транспорт и отправился с ней в деревню. Тяжело было на душе. Больно. Он печально вздохнул и опустил голову вниз:

— Алеша плохой. Плохой Алеша.

Галина Погожева

Родилась в Москве. Окончила французскую спецшколу, затем Московский авиационный институт. Составитель, переводчик, автор комментариев в книге французского поэта, лауреата Нобелевской премии Сен-Жон Перса (1983). Многие годы сотрудничала с газетой «Русская Мысль». Автор поэтического сборника «Смелая вода».



С 1990 года живет попеременно в Москве и в Париже.

ВЕТЕР КОРАБЕЛЬНЫЙ

Ты страшная, ты властная, ты злая.
Ты холод — пальцы от тебя не гнутся.
На милый север — гибели желая,
На грозный север я хочу вернуться.

Там стынет сердце, честно извиваясь
В руке судьбы, в покатой пасти зверя.
На снежный север, смерти добиваясь,
Еще сильнее, еще опасней веря.

В Сибирь, к оленям, в замиреньи нежном,
А ей ненужным, фантиком бумажным,
Теперь, как прежде, ленником прилежным,
Презрев спасенье, пленником отважным.

Невзгоды те — они и те желанны.
Пускай презренным, что ни говори там,
Орлом времен Екатерины, Анны, Елизаветы —
Подлым фаворитом.

А память — да, она болит годами,
Всегда, всегда, когда глубокой ночью,
Как старый плащ, утыканный звездами,
Летит душа, изодранная в клочья.

Владетельного герцога посланье.
Зажжется к ночи новая звезда.
Но медлит день, несущий на закланье
Свой бледный свет. И грусть как никогда.

Еще не вечер, но немножко поздно...
Кончается поэзия. К концу
Подходит август — холодно и звездно —
Как блудный сын к хрипящему отцу.

Уходит день. Он где-то в Ливерпуле.
В России ночь, давно уж там темно.
Там снова занят отливаньем пули
Наш человек. Но это все равно.

Зажжем свечу — темно мне. У огня же
Я вижу лучше, чем при свете дня,
Что жизнь прошла. Настала осень, княже,
И золотом осыпала меня.

Мне скучно, бес. Всех нет, но хоть бы слезы...
Посмотришь в сад — и что же видишь ты:
Что все прошло. Остались только розы,
Георгия Иванова цветы.

Ты на мое отчаянье похожа.
Стоит звезда над сушей и водой.
Горит душа, и холодеет кожа,
И расцветает лютик золотой.
Дни выпадают, как дожди, и гаснут,
Как только дни — и как одним глотком,
Одним дыханьем говоря: «А вас тут
Забудут всех, не вспомнят ни о ком».
И ты мне скажешь, руки отнимая,
Что счастья нет, есть ветер и вода.
Затмилось сердце, слов не понимая,
И ветка ивы брошена туда.
Есть что-то в даре вечное, как в горе,
Привычное, как верность и тоска,
Как та река, впадающая в море,
Идущее волной на берега.
И это жизнь. Ее узор подвижен,
У ней изнанки нету никакой,
А на лице, среди цветов и вишен,
Мы вышиты коснеющей рукой.
Уже темны и тягостны посулы,
Сквозят черты, как ветер из дверей,
Сквозь плутни школы, сквозь глаза и скулы —
Деревьев, лодок, стен монастырей.
О эти дара вечные подарки,
Перерожденья, бденья забытья!
А все твои, Олимпия, огарки,
Твои и рисованье, и шитье.

Кончается поэзия, как детство.
Осталась жизнь. Тем более слабо,
Что, кажется, она не цель, а средство.
Оружие, процент с продаж... Рембо!

Все чудится, она опять вернется,
Помирится, повадится еще.
Но кто-то белый возле двери мнется,
Сверкающий, заходит за плечо.

Не верится — больничная сорочка...
Да это снег, закрой скорей глаза!
Завертится какая-нибудь строчка,
Как девочка в зеленом, как лоза.

Как хочет жить и как прощенья просит...
А если не упрсит, что тогда? —
Тогда несет — нет, гонит — нет, возносит! —
Прозрачная и вечная вода.

Людмиле Корсавиной

Необъятная вера имелась вчера,
Билось сердце, и юность бежала.
Не мешай, не мешай! Это проба пера,
Заржавелого проба кинжала.

Тот, кто жизнь начинает, имеет сказать:
Жизнь прекрасна и небо синее, —
Но художник, садящийся небо писать,
Возраженья на это имеет.

Ну да что ж, возраженья имей не имей,
Все равно не прибавится хлеба.
Поднимается ветер, пускается змей
В побледневшее зимнее небо.

И осветит луна этот фон голубой,
Этот путь недалекий и честный.

Не жалея, не жалея! Кто мы были с тобой?
Неизвестный, портрет неизвестной.

Грустная весть: красота бесполезна.
Дерзкая мысль: без нее никуда.
Холодноватая звездная бездна,
Где не одна погибает звезда.

Поиски рифмы под происки смерти.
Здесь спотыкается каждый второй.
Здесь сам Рембо отрекается. Верьте,
Я не поверю, что он не герой.

Снежные сумерки падают в воду,
Птицы и вьюги поют в унисон.
Если Рембо выбирает свободу,
Он, несомненно, имеет резон.

Школьники счастья, невольники чести.
Прожили век — и остались детьми.
А в результате-то — грустные вести,
Просто какую судьбу ни возьми.

От глуповатого Божьего дара,
От виноватого: «Был человек»,
С голубоватого нежного шара
Витиеватое облачко пара
В мерзлую бездну восходит навек.

Деда ватник и прадеда ряска
Очевидцы скитаний и бед.
Раз в году вам положена встряска,
Очищающий солнечный свет.

Ну а нам полагается низко
Поклониться и их помянуть,
И в невидящий глаз василиска
Ненавидящий взгляд повернуть.
Дарит нам еще труп этот львиный
Горький мед... На холмах и во рвах
Надо всей среднерусской равниной
Веет ветер в пустых рукавах.
Одержимые этой державой
Все ж недаром, сквозь снег и метель,
За подстреленной птицей двуглавой
Мы пошли как Тильгиль и Митиль.
Нам теперь змеяед предводитель.
И велят нам идти до конца
Государя полковничий китель
И полковничий китель отца.

Пусти. В нас ни мужского нет, ни женского.
Мы время, в нас часы заведены.
В свой бальный плащ, больную тень Нижинского,
Как будто в крылья мы облачены.

В краю ветров, июнем холодеющих,
Где моря вздох у горя на краю,
В саду дроздов, от яблок молодеющих,
Мы погубили молодость свою.

Как было жить с такой душой играющей
Сквозь эту жуть — не море, не листва,
А просто шут, от горя умирающий
В кругу родных, не помнящих родства.

Но в страны тех, у нас жестоко отнятых, —
Что ж память их? — но вспомнить пробил час! —

Плывет на парусах, высоко поднятых,
Небесный свод, печально ждущий нас.

А счастья-то, впрочем, нам надо немножко:
Оно так безумно!
К березовым рощам приникнешь в окошко:
Куда-то везут нас.
По всем этим будням мы прожили глупо,
А нынче так звездно!
Но все, что сегодня, и все, что могло бы... —
Прекрасно и поздно.
В холодном вокзале, в прокуренном зале,
В ненужном: — Пишите, —
Вам что-то сказали. — Вы что-то сказали?
Еще раз скажите! —
За блажь и дерзанья нам сны наказанье.
Приснится, голубчик,
Что где-то в Рязани запряжены сани,
Постелен тулупчик —
И снегом и лесом, и лесом и снегом,
С березами вровень.
Мы сыты железом и вспомнить нам не о ком.
Не о ком, кроме...

Пока Ты надо мной, бесстрашно я иду
По мяте, по воде ночной, по иван-чаю.
Я слушаю Тебя, как поле и звезду,
И так Тебя люблю, что все Тебе прощаю.
Все прошлое мое, горящее в огне,
Болящее во мне темно и безысходно,
За то, что Ты один склоняешься ко мне,
А прочие пускай расскажут что угодно.
К ногам Твоим припав, я плачу о тебе.

— Мария! — говоришь, и так легко и свято
Притронешься рукой к поникшей голове.
Ты поле и звезда, вода ночная, мята...

Ирине Зайцевой

Когда темно — какая там страна,
Который век — не смыслит до рассвета
Прекрасный, как военная планета,
Оранжевый зрачок ее окна.
Художница, рисующая ночь,
Склоняется уверенно и низко.
Лишь истина и ложь — максималистка!
Перо и тушь, другие краски — прочь!
Начертит лиц печальных и больных,
Настроит улиц кривеньких и узких
Под теснотою вывесок нерусских
Кофеен, мэрий, лавок и пивных.
От юных и задиристых пажей
В ней что-то есть, и это означает:
Она не чтит, почти не замечает
Кастриоль, тарелок, кухонных ножей.
И то пора от утвари — в азарт,
К последнему, но верному оружию:
Художницей, рисующей лишь тушью,
По бездорожью, музою мансард!
Ночной кузнечик прыгает в миры
Где, позабыв про бедного Вийона,
Нестройно, но победно-упоенно
На весь Париж горланят школяры.

Предайся вере и надежде,
Бредя осеннюю порою.
Душа все та же, что и прежде:
Дитя в матроске за игрою.

Хлопочет, мишку обнимая,
К учебе рвением пылая,
И уж совсем не понимая,
Зачем судьба такая злая.

И скажет месяц — или ветер —
А может туча, проплывая:
— Так мало дней уже на свете,
Зачем их тратить, унывая?

Допей вино свое, голубчик,
Доверься мерному качанью,
Меж колыбелью и печалью,
Меж колыбелью и печалью.

Пусть рядом грустная, нагая,
Скучая, плача, холодея
Присядет осень, излагая
Свои бредовые идеи.

И грянет день не сожаленья,
Но умиленья и отваги,
И ты раздашь свое именье
И подожжешь свои бумаги.

В унылой гавани постельной
Заблещут бисер и стеклярус,
А дальше — ветер корабельный
Умело схватывает парус.



Марина Кудимова

Родилась в Тамбове. Начала печататься в 1969 году. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист, историк литературы, культуролог. Окончила Тамбовский педагогический институт. Автор многих книг стихов и переводов. Лауреат литературных премий: имени В. В. Маяковского (1982), журнала «Новый мир» (2000), имени Антона Дельвига (2010), «Венец» (2011), Бунинской премии (2012), имени Бориса Корнилова (2013), а также — Международных литературных премий «Писатель XXI века» (2015) и Лермонтовской (2015).

УТОЧНЯЮЩИЙ

Из цикла «Рассказы о партии»

I

Следы крапивной лихорадки осени 93-го были смыты с мостовой, закрашены светлой итальянской краской, впитались в землю. Они остаточны проступали судорожными расчесами паники, волокнящимися тряпками, развешанными на деревьях, как древние символы вопиющей к небесам крови, неузнаваемо зудели памятью о дешевой колбасе, разбегались мажорскими пиджаками по казино и ресторанам, брызгали лопнувшей плотью зазевавшихся *предпринимателей*, которые полезли в игру раньше, нежели установили ее правила. Патронесса не слишком преуспела в этой игре. Она только успела сменить систему льгот в тот короткий период, когда народ прислушался на минуту к новой, высокой и дестабилизирующей ноте. Ее после надоевшей хо-

20

ровой «Дубинушки» можно было, как показалось, тянуть на свой лад, обманывая доверчивых мнимым солированием.

Вторая кровь пролилась. После второй подле власти остаются самые подлые и ушлые, рассчитывающие дотянуть до третьей, неперменной, отворив которую, получаешь доступ к зеленойной денежной струе и сосешь, пока не оттянут напирющие сзади. Эта перспектива от моей владелицы была далека, словно сокровища Шлимана. Она могла рассчитывать на разрозненные черепки и фрагменты. Спецпоезд отходил без нее, и те, кому удалось зацепиться за поручень головного вагона, боясь не удержаться на одной руке, даже не помахали остающимся на перроне, по нарастающему ходу тренируя взгляд на номенклатурную сквозимость. Оставшиеся безбилетники забылись еще до первого полустанка. Занятая сперва бесполезными черепками, а потом устройством клубов «огоньковских» фанатов, Патронесса свято верила, что выправление вектора перемещения связано с внедрением в векторное исчисление не использованных данным обществом утилитарных единиц. Таковой ей представлялась заветрившаяся наживка многопартийности и другие похожие признаки исторического второгодничества.

Люк человеческой самости открывается без натуги, и перископ шарит в поисках цели, далеко пробивая темноту. Но цели нет. Она попросту не поставлена. Соратники и соперники Патронессы были по-своему честнее, предполагая взять что попадется там, где дают. Они принесли этот навык из вчерашних очередей и списков и в этом смысле создавали хоть какую-то преемственность. Она же всегда замахивалась на неосуществимое — борьбу с коррупцией, преобразование сразу всех управленческих институтов и тому подобное. Убить мышь легче, нежели слона, уже по признаку базовой частотности. Соперники выходили с примитивной мышеловкой и всегда были сыты, а она лупила реактивными снарядами и безбожно мазала. Конечно, удачливые охотники радовались до появления первого кота в сапогах, знающего способ превращения в мышь слона. Но она не знала и этого. И неудачницей была не по гороскопу, а по роли, на которую сама напросилась, поэтому я не испытывала к ней жалости или хотя бы снисхождения.

Долго и кропотливо пришлось сначала выпутывать ее гулливерскую глобалку из мышинных препон соперничества, затем сажать на диету, чтобы уменьшить до приемлемых размеров, затем подвергать усушке и утруске, чтобы перевести в разряд осуществимого. Даже если пойти на поводу у конспирологов и предположить наличие некой комиссии, руководящей установлением всеобщей одинаковости, легкость, с которой эта тайная канцелярия принялась раздавать деньги явным плутам, сбивала с толку.

Как только мне удалось понизить температуру абсолютно черного тела до эффективной, она немедленно обвела вокруг пальца вроде бы неплохо считающего большого немца с немислимым качеством кожи и волос, которое достигается не катаньем, а мытьем, то бишь дорогим парфюмом и натуральными продуктами. Правда, безуспешно попытавшись выяснить, что мы намереваемся получить на выходе, немец поручил производить все расчеты жуликоватому русскому мальчику на стильно замызганном джипе. Но деньги — и немалые — были получены, в сущности, на возобновление родного политпросвета, который кормил нашего брата еще тогда, когда жизнь без денег была обычным делом. Изменились даже не сами темы, но их география. Все, про что рассказывали применительно к Америке и Франции, неожиданно воссияло в Якутии и Мордовии. Несоединимое соединилось, неразрешимое разрешилось, и я наконец получила собственными руками организованную возможность прочесть курс лекций по истории политических неудач в России.

Умением экономить на людях Патронесса была сравнима разве с матерью-природой. На том же невольничьем рынке мозгов, где остатки интеллектуалов торопливо, ни секунды не веря в длительность свобод, давясь и брызжа, выталкивали наружу свои непережеванные мысли, ею были подобраны два экономиста, членораздельнее других произносящих фамилии новых кумиров неосуществимости — Эрхарда, Хайека, Мизеса — и избегающих из опаски быть побитыми упоминания пораженного гипертрихомом трирского адвоката.

Помимо заработка и скулящей застарелой потребности высказаться, меня соблазняла последняя возможность поездить по Рос-

сии. Так называемые места летнего отдыха, куда в дешевые времена то ли я вывозила семью, то ли она вытаскивала меня, не давали впечатлений, зато оставляли на год вперед сновидения с запахами и контурами голых, тяжелых чужих тел. Эпизоды автостоппной юности стерлись и выцвели, да и связаны они были с эмоциями и приключениями любовного свойства, а не с ощущением Родины и себя в ее лоне. Патронессина *mania grandiosa* на сей раз оправдывалась задействованным пространством. Заря политпросвета должна была взойти от Волги до Енисея.

Сельский пейзаж в России изменился подспудно — экологически, а не визуально. Следы соотношения естественного и противоестественного в человеческой деятельности носили города, *полисы*, наиболее поздняя и наиболее зависимая от *политики* форма человеческого устройства, жалко подражательная, детская, песочная, непрочная. Я понимала, что все — от лепнины храма до герани на окошке мещанского домовладения — уцелело благодаря приспособляемости, умению согласиться со злом и оправдать его ради продления отсрочки приговора. И все же я любила эти приметы выживания и страшилась за цветочный горшок больше, чем за свою выморочную жизнь. Экономя на гениях, природа исходит из соображений самосохранения, но наступает предел, за которым здоровый консерватизм оборачивается застоєм и процесс разрушения, как ни замедляй его, ведет к маразму, самоповтору и вырождению.

Несмотря на то что, расписываясь за некую сумму, мы получали только половину ее, сказать, что Патронесса обогащается за наш счет, было бы преувеличением. Но ее прижимистость делала организационные усилия бессмысленными, потому что, наняв генерала от демагогии, она получила бы такую рекламу, которая с лихвой покрыла бы все расходы. А наше безвестное трио не обеспечивало потребности людей поклониться беспорному, как говаривал Великий Инквизитор, и вся затея оказывалась такой же пародийной, как и прочие гигантские шаги карманной партии. Сама не выслужив генеральский чин, она не могла бы по субординации командовать генералом, а с нами хотя бы этот сектор своих страстей обеспечивала сносно.

Первый город маршрута отделяла от Москвы железнодорожная ночь, и мы были почти свежи, во всяком случае, не так измо-

таны, как впоследствии, пережив суточные сидения в аэропортах и загрузив кишечник мерзлыми сардельками. Нас встретили *предприниматели* на иномарке, приобретшей под их задами санную развалистость, и повезли завтракать в ресторан, где фикус был то-ропливо замещен квази-икебаной, а гардеробщик сменил черный ликвидаторский халат на камуфляжку и заплыл накачанными бицепсами. Отвыкшие в реформах от утренних трапез, мы бахнули водки, закусили резиноватым кальмаром и заговорили вразнолад. *Предприниматели* заскучали, скорее, не от нашего бреда, а от межеумочности Патронессы, с которой они, не разобравшись, попытались сторговаться на какой-то загадочный предмет. Нас посадили уже в косную обкомовскую «Волгу» и вверили попечению водителя, черно-палевым зипуном и не сомневающимися глазами похожего на ротвейлера.

Русское слово *предприниматель* приблизительно и стеснительно, как многие слова нашего переимчивого языка, имеющие во всем мире непробиваемую смысловую защиту. Морфологически это не то человек, находящийся непосредственно перед принятием некоего решения, не то принимающий его раньше конкурентов, не то просто выжигает, не возвращающий кредитов. Я, мигренево трезвея, думала о том, что второй раз за столетие народ, авансированный своей элитой, как никакой другой, провалил экзамен по автономной этике, выказав полное отсутствие самоочевидных принципов. Этика гетерономная, внешняя, отменилась на уровне всего человечества, и Иммануил Кант не излечился от хронического насморка. По идее, русские не должны были пережить этическую катастрофу 17-го года. Но всего через три четверти века, потеряв половину списочного состава, снова пустились во все тяжкие.

Мы очнулись от завтрака далеко за городской чертой, как в плохом детективе, и были вывалены в сугроб у фанерной стены летнего пансионата, некогда принадлежавшего гиганту оборонного комплекса. В моих костях замозжила прапамять пионерлагеря — места, где никогда не согреваются конечности. Напарники, прошедшие школу КСП, преувеличенно бодрились. Но изнутри домики превосходили самые дерзкие ожидания. Стены, двери и полы были изгажены с пылкой методичностью художников-авангар-

дистов, жестокостью повстанцев и безнадежностью футурологов, провидящих грядущие задержки заработной платы и сложности со взаиморасчетами. Именно обилие фекальных масс поражало очевидцев любого переворота. Прежде чем убить голодом, революция мощно очищает желудки своих бойцов, словно собираясь их мумифицировать.

Я бросила сумку на палеозойский панцирь кровати, где мне предстояло коротать ледяную космическую ночь, и по слежавшемуся натуральным порядком, забывшему насилуе лопаты снегу вышла за ворота. Черная копирка шоссе проложила обрезанную горизонтом равнину, на которой запечатлелись только ижицы телеграфных столбов да запятые ворон в ближней перспективе. Протекторы и гусеницы не оставляли на истертой копирке свежих следов, моторы коротко взрезали слух, сразу же залепляемый ветром. Полиомиелитный холодильник, криво положенный набор, остановился «по требованию», хотя требовать от него было разумно разве что сдать в утиль, дверцы раздернулись так натужно, как будто их взломали парапсихологическим усилием, и мне ничего не оставалось, как впрыгнуть в этот рефрижератор, рискуя разбить голени о ступеньки. Я уже понимала, что никаким иным способом мне не удастся увидеть город, помнящий Наполеона в его самые черные дни.

Каждый рейсовый автобус в провинции идет до «центра». Это атавизм радиального принципа городской застройки и метафора центростремительности жизни. Ублажить гения места можно только ногами, и города, где мне довелось побывать, я искаживала с паломнической добросовестностью. Выпрыгнув из автобуса, я встала спиной к обкому, который никто из горожан, включая раритетную кондукторшу, не научился звать новым бюргерским именем, и пошла вверх по главной улице, автоматически отмечая, какие из коренных зубов ей выбили на чекистском допросе, какие — при налете «Люфтваффе» и какие — в борьбе с архитектурными излишествами. Пошлость московской колониальной коммерции, жестяное изобилие и вакуумное разнообразие товаров здесь были рассчитаны на дошкольника или пэтэушника, тем более что подле каждого ларька сидела анахроничная бабуся с неподменного качества дарами земли. Два юных аборигена в куртках

американских пилотов купили в ларьке пива, а у бабуся — влажных соленых огурцов и прошли мимо, обдав меня модным резким одеколоном и новым фразеологизмом «короче, блин».

Я остановилась на перекрестке, где гололед был особенно травматичен, снежные кучи особенно грязны и ноздреваты, а ветер задувал в рукава символической шубейки сугубую полноту сиротства, и мне в очередной раз до слез стало жалко потерянного мифа Отечества, попавшего в желтые зубы политической конъюнктуры. Мне стало невыносимо грустно за экономистов, сидящих в загаженном домике профсоюзного дядюшки Тыквы и не знающих выхода за ограду своих комплексов. Не дойдя двух шагов до кремля, я остановила машину и за смехотворную против Москвы сумму вернулась в места заключения. Приблизительно то же самое происходило потом в каждом из посещаемых городов.

Зима в России продолжается две трети года.

II

Обычно мы приезжали или прилетали утром и целый день слонялись, оценивая степень разорения данной местности. Участники семинаров, группируемые по региональному принципу, скапливались к вечеру. Некоторые — совсем немногочисленные — были убеждены заезжим Агриппой в необходимости именно таких перемен своей жизни, в закономерности хаоса и воровства на переходе к какому-то таинственному «порядку». Эти твердо стояли в тисках нового для себя заблуждения, в испанских сапожках новой догмы и не хотели сдвинуться ни на йоту ближе к сомнению. Если я и имела к ним претензии, то лишь по части странного штиля, воцарившегося в их неопитских мозгах, не допускающих ни малейших вариаций и нюансов. Они понимали процесс получения знаний как моментальную фотографию, касалось ли дело изучения иностранных языков или человеческих ошибок. Впрочем, так же экстенсивно они лечились, любили, растили детей, не то что не стремясь к результату, но прямо боясь его достижения. Они носили китайскую кирзу и мохеровые береты, хотя барахла появилось чрезвычайно много, но все, что требовало осознанного выбора, по всей видимости, угнетало их нервную систему. В отли-

чие от своих ликбезовских предков, они ни минуты не хотели пострадать за новую жизнь. Они не уставали жаловаться на нехватку денег, однако в большинстве своем никогда не согласились бы на приработок, связанный с простой черной работой, как мытье посуды или уборка подъезда. В них раздражала не ограниченность, а развращенность, подсознательный поиск во всем своего и полное отвержение иной притяжательности. Титульный лист возникающего мифа оказывался пуст, но едва ли чист.

Конечно, они были бедны, прежде всего имущественно. У них никогда не накапливалось той суммы денег, которая предполагает хоть какой-то образ жизни, а не трудовую повинность за теплый ночлег. Но если бы они получили такую сумму, то прежде всего перестали бы работать, пока не израсходовали бы ее на колониальные товары, на обильную и еще больше ограничивающую в передвижении еду. Соблазн бесплатности отнимал у них силы и разум, им везде мерещилась украденная гуманитарная помощь и утаенные льготы. Но главной проблемой была их невылазная и уверенная в своей правоте нищета знаниями.

Я и моя аудитория находились в абсолютно равных стартовых условиях. Нам давалось одинаковое транспарантное образование, — большинство слушателей закончило вузы. Родители не возили меня в Сорбонну и Кембридж, и я пользовалась общим читальным залом, а моей британской библиотекой был Кузнецкий мост, где распахнутые полы раскольниковских пальто книжных барыг закладывались изнутри каталожными карточками докомпьютерных сокровищ. И подлиповское невежество семинаристов не искупалось и не опровергалось их присутствием на партийном мероприятии, но, напротив, присутствие на неинтересном, непонятном и не сулящем никакой халявы действе — кроме бесплатного прогона, потому что халявное знание им некуда было употребить, — объяснялось преобладанием коллективного бессознательного и ничтожностью личной воли. Нелюбопытство к познаниям оборачивается нравственной непроходимостью и глухотой к великой и печальной музыке мира. Бедность высока своей побудительностью к жалости, доброхотному даянию, ущербу наглой и монолитной корысти, нависшей над человеком. Прибеднение кощунственно отсутствием артистизма. Человек вообще ча-

сто игнорирует защиту артистизмом. Его притворство перед жизнью вынужденно и жалко неталантливо, границы «я» поставлены произвольно, зато охраняемы мощной службой подлости, сквозь посты которой легко проходят только оскорбленные души самых отъявленных бездарностей.

Сумасшедших, то есть отважно рванувшихся за запретку «я» сквозь обугливающее напряжение нормы, на наших семинарах было мало, и они бдительно нейтрализовались и изолировались. Но персонажей — людей с одревеневшей психикой, наиболее легко зомбируемых и переводимых на язык смеси глумления и притворного глубокомыслия, именуемой литературой, и на этом языке, тарбарском и бесчеловечном, веками обманываемых, было достаточно.

Патронессе во время семинаров заняться было фактически нечем. Вся работа по организации брали на себя местные партийцы, тоже, вероятно, зарабатывая на этом половину какой-нибудь половины. Ей оставался лишь непрерывный пересмотр рядов. Численность партии скрывалась, как количество стратегических бомбардировщиков, однако была нескрываемо ничтожна, поскольку прямые адепты никогда не могли заполнить ни одной самой мизерабельной библиотеки, самого портативного красного уголка. Приглашение людей со стороны, необходимое для загрузки пространства, выдавалось за важнейшую часть партийного строительства, и когда удавалось перевербовать редкого простеца, это событие праздновалось на всем пути до очередного пункта политобработки, будь то националисты с кучерскими задами, испитые анархисты из плохого кино, заносчивые члены партий, представленных в парламенте откупившимся от следствия уголовником, романтические демократы первого призыва, вылезавшие из последних медвежьих углов и словосочетание «права человека» произносящие на последней точке идеологического оргазма. Большинство присутствующих связывали себя корпоративной принадлежностью по привычке, меньшинство рассчитывало на что-то смутное и недостижимое, но всегда меркантильно обусловленное, наивные единицы питались бреднями о попранной справедливости. Откровенной враждебности почти не встречалось, или она была бессловесна и выражалась в недоверчивом хмыканье.

Роль верховного судии происходящего Патронесса перемежалась с ролью классного руководителя, получившего детей от незадачливой предшественницы, распустившей пряжу дисциплины и не смотавшей ее в упругий клубок. Семинар начинался с представления участников и оглашения их политического кредо. Эту пародию на классный час я обычно использовала для просмотра конспекта лекции, потому что меня выпускали первой, чтобы как можно скорее прогнать историю со сцены и дать место экономике — царице реформ. В миниатюрном зальчике библиотеки с типовыми портретами одинаково бульбоносых Толстого и Маяковского, с засунутыми за веревочку на стенде толстыми московскими журналами пятилетней выдержки я уткнулась в свои листки, машинально отмечая нелепые или двусмысленные фамилии и пропуская мимо ушей политинформацию. Меня в очередной раз изумляло, что культурное опустошение сказалось даже номинативно, когда на двадцать человек едва наскребалось три-четыре имени, полностью порвавших связь со своими библейскими или византийскими корнями.

Я подняла голову не на имя, не на фамилию, а на корень слова, экзистенциальность которого перевешивала его элегичность: «Кладбищев!» Нота комического, звякнувшая о диафрагму, разбилась вдребезги, уколота безответной любовью к иностранным языкам. «Кладбище» для меня было не знаком условного упокоения с громоздкой землеройной процедурой, но калькой имени нежного диалектика, оппонента всесильного Гегеля, импотентного обольстителя правильной девушки Регины Ольсен, воплощающей твердолобое здравомыслие. Транскрипция «Киркегор» — кладбище, «Киркегард», очень приближительная в сравнении с оригиналом Kierkegaard — церковный двор, прочитанным сумеречным евреем Шестовым, и прижившимся вовсе изуродованным «Кьеркегор», с юности завораживала меня, ассоциируясь с рыжим барыжным пальто на Кузнецком, с уникальностью свободы, вытащенной из ямы страха безнадежно убогим юношей. С неподвижной пристальностью я вгляделась — и не увидела практически ничего. Кирзовый модерн полностью заслонял генетический декаданс — крошечную, чуть привскочившую над айсбергом стола булавочную головку и эмпирически рисуемую ниже крыш-

ки фигурку. Скорее всего, здесь присутствовало кровосмешение или проклятие, обрушенное из уст отца и придавившее датского однофамильца, прижавшее его к земле коленом Авраамовым с занесенным ножом жертвенного сыноубийства. Аудитория отнеслась к оглашению этого человека, маленького без метафор, с равнодушием иноземцев, не врубившихся в анекдот. Уж не знаю, какую фамилию надо было носить, чтобы заслужить самомалейший знак внимания многопартийной массы. Впрочем, возможно, Кладбищев получил свою дозу насмешек загодя.

Фигурка между тем предупредительно оплыла айсберг пресованной фанеры и встала в проходе, дабы скудость ее всем видна была. Человек — синоним погоста — казался выполненным по противительному принципу загадки: крошечный, но не лилпут, выморочный, но не дегенерат. Флексии облепили буквально каждую деталь его бракованного облика: без уменьшительного суффикса этот филологический казус представлял в свете ложного титанизма. Вещи, которые он носил, могли быть квалифицированы исключительно как ботиночки, шарфик, пиджачок. Соответственно, они были прилажены к ножкам, шейке, плечикам.

Несмотря на конспекты, мои лекции были скорее импровизациями на тему не высказанных за жизнь мыслей и развернутыми метафорами по поводу, как мне казалось, нуждавшемуся в актуализации. В этот раз я говорила о поклонении бесспорному как форме отрицательной свободы. Портрет Достоевского не был завезен по накладной в процессе оснащения библиотеки наглядной агитацией.

— Помните, как Великий Инквизитор говорит: «Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение»? Поклонение бесспорному с некоторых пор приняло форму лицензирования. Лицензия выдается по совокупности признаков. Прежде всего, это частота упоминания и появления в сфере массмедиа и релевантность — удовлетворенность пользователя поисковыми результатами по его запросу. Лицензионное сознание, не обладающее способностью к самостоятельному суждению, способно к механической фиксации частоты мелькания некоего лица и запоминанию его впрок, про запас. Если визуальный ряд (в том

числе графический и инфографический) поддержан вербальным, то есть так называемые паттерны, шаблоны данное лицо произносит так же часто, как появляется на экране, это само по себе служит хорошей предпосылкой для выдачи лицензии. При этом лицензирование, в отличие от моды, создает полную иллюзию «голосования сердцем» — решения, принятого по своей воле.

В разряд бесспорного, таким образом, попадает все, связанное с рекламным бизнесом и служащее или могущее служить товаром. В этом смысле политик, рекламирующий определенные общественные модели, не отличается от агента по продаже недвижимости, зубной пасты, йогурта и т. п., ибо, как за зубной пастой стоит рекламодатель, желающий ее сбыть, так за политиком стоит его лобби, продающее через него манипулятивные технологии. Лицензионное сознание архаично и ориентировано на вождя. Понятие «харизма», в переводе означающее «милость», недаром всплыло из сакрального ряда. В принципе, понимая степень циничности и товародвижения нынешней политики, люди жалуют виртуальной лицензией отсутствующего, но всегда требующегося героя. Но «харизма» в секулярном обществе выдается на предъявителя, а в сакрализованном дар Божий осознается упреждающе. В Евангелии от Луки, когда Спаситель спрашивает учеников: *а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за Христа Божия.* Даже Буратино в театре Карабаса-Барабаса узнали не на сцене, а по присутствию в зале.

Лицензионное сознание не исключает веру, но отключает ее как метанойю — полное переосмысление себя и мира. Если реклама не имеет отношения к природным процессам, то лицензия не имеет ничего общего с героическим, харизматическим. Понятие «харизма» в мире лицензий всего лишь очередная смысловая подмена, оборотень. Так и метанойю, процесс глубоко онтологический, приспособила под себя психология и психотерапия, торгующие утешительными услугами. Лицензия завершает классификацию бесспорности в системе ложных приоритетов и, как всякое завершение, таит в себе оспаривание бесспорного и низвержение монолитного. Чаще всего до этого дело не доходит и ограничивается простым забвением — самым страшным для самозванного харизматика явлением.

III

Обед в зимнем пустующем пансионате, когда калькуляция продуктов вдруг приобретает летний размах в связи с неожиданным заездом прожорливого кратковременного контингента и работницы столовой после смены уносят привычные килограммы недовложений, а не жалкие объедки урванного у самих себя. Обед с обязательной, как рыбий жир послевоенного детства и такого же вкусового качества *подливой* — фирменным ядом общепита — *подливой*, обволакивающей поджелудочную железу, как пение сирен — слух астронавта. С каштановой пенкой — родимым пятном какао. С отсутствием ножей, объединяющим отдыхающих, заключенных и душевнобольных...

Визуальная изжога, подступившая как сигнал тревоги еще до ознакомления с супом породы «рассольник», не помешала мне наблюдать сражение Кладбищева с тарелкой, охоту на монтажа в виде куска гуляша, шпагоглотание макаронного изделия и всасывание напитка из сублимированного боба дерева рода теоброма. Как его зовут? Бибигон? Эпигон Ц? Цеце — помесь ядовитой мухи и кавказского восхищения. Нет, имя его — бастард автогра Цинцинната — грудастой птицы — и копенгагенского уродца: Сирина? Сёрен? Сьерен? Исаак — имя ему? По пути из столовой я заглянула в кондуит, который вела Патронесса. Кладбищев именвался ординарнейшей единицей советских святцев.

Жили мы на сей раз особенно далеко от города, зима была особенно неукоснительна, а рейсовый автобус пал, как Росинант, жертвой транспортной разрухи. От нечего делать я осталась после обеда на занятия, проводимые моими поделщиками. Я и в прежних странствиях имела возможность слышать эту упоительную симфонию приблизительности, построенную на неясных заимствованиях. Как того и требовала представляемая поделщиками наука, они исповедовали несоотнесенность своих выкладок с жизнью присутствующих и всех поколений их предков — несоотнесенность не с интеллектом, но с хозяйством, инвентарем и жалованием. В сущности, люди хотели от них немногого: разумного обоснования воровства, объяснения, как воровать у государства, чтобы не попасться, и, наконец, благословения на воровство как единственный на сегодня способ выживания. Вместо этого

им втирали немецкие доктрины, рассчитанные на народ, не отказавшийся от организованного хозяйствования даже после национальной катастрофы.

Я присела рядом с Кладбищевым не нарочно, а инстинктивно. Так опытные невротики всегда и селятся в санаториях — по запаху неблагополучия, который скрадывает неприязнь к сосуществованию. От Кладбищева тянуло *подливой*. Он кайлил блокнот толстой многоцветной ручкой, полузадушенной напряжением обхвата, и застой крови у оснований его ногтей делал их похожими на спартаковский значок. Телесное убожество непременно влечет подозрения в убожестве умственном — это воплотил Гюго в великом образе Квазимодо. Точно так же мы как должное принимаем ограниченность так называемых красавцев, не говоря уж о красавицах, глупость которых прилагается к объему их бедер, как некая инструкция. Так — в системе компенсаций и декомпенсаций — природа балансирует, не давая человеку окончательно исчезнуть, и ее углая щелявая лодка ухитряется выравнять крен. Но зачем ей нужен человек, она, застарелая язычница, давно забыла.

Экономист, во всех поездках неизменно читавший Стругацких и воспитанный этим итээровским стилем, отчаянно старался не выпустить поводья натужного остроумия. К сожалению, язык, которым пользовался, он знал так же приблизительно, как и теорию прибавочной стоимости. Не без интереса я следила за выпутыванием из очередного реприманда русскому разгильдяйству и головоотяпству, когда злорадство едва прикрыто тряпичной снисходительности:

— Знал бы, где упасть, *соломинки* подстелил, — приплел он, как ему казалось, чрезвычайно кстати. И с наслаждением повторил:

— *Соломинки* подстелил.

Отложив кайло, мой сосед неожиданно встал, отчего пространство геометрически не пострадало, и тоненько, но твердо произнес, почти достигнув восклицательной интонации:

— *Соломки!*

Экономист не вздрогнул, а передернулся. Я могла наблюдать в нем эту судорогу отвращения похмельными железнодорожными утрами при первом усилии никотина над сосудами, при первом

глотке кофе. Ему ничего не оставалось, как переспросить, чтобы выиграть время на обдумывание ситуации.

— Что вы сказали? — спросил он с той долей уничтожительности, которая рассчитана на ретираду противника из соображений «себе дороже».

Но Кладбищев оказался крепким орешком, хотя ко всем своим совершенствам еще и шепелявил:

— *Шоломки!*

— Это вы, стало быть, меня поправляете? — осведомился лектор, достаточно примитивно пытаясь взять в шенкеля клячу высокомерия.

— Я не поправляю, — отрекся Кладбищев. — Я уточняю. Суффикс «инк» в слове «соломинка» указывает на единичность, понимаете? Одна соломинка. А суффикс «к» определяет не минимум подстеленной соломы, то есть количество, но ее мягкость, спасающую от ушиба, то есть качество.

— Bravo! — произвольно вырвалось у меня словцо из репертуара цирка гладиаторов. Ходячий суффикс «к», Кладбищев не мог не восхищать бесстрашием. Я приготовилась тянуть большой палец вверх, даруя ему жизнь, но у экономиста началась урядная истерика:

— Уточняете? Вы — уточняющий? Может быть, ваша фамилия — Розенталь? Или Бодуэн де Куртене?

— Его фамилия — Киркегор, — тихо и неожиданно назидательно сказала я, совершенно не вдаваясь в последствия.

Кладбищев дернул головкой, как волнистый попугайчик. Он явно не ожидал разоблачения. Но и экономист не ожидал предательства с моей стороны. Я обезоружила его полностью. Так иногда самая дурацкая реплика останавливает семейный скандал на грани мордобоя.

— Я прошу вас выйти! — указательной перст, обращенный к двери, — все, что осталось в арсенале бывшего вундеркинда из средств индивидуальной защиты от разоблачения.

Я могла бы спокойно не относить просьбу к себе. Мне хотелось взять Кладбищева за ручку и увести от расправы, но демонстрация разницы в росте — этого глупейшего из человеческих соотношений — показалась мне унижительной для него. Я пошла к выходу

одна, напрягая спину и моля удерживающую меня целое мгновение заусеницу стула пощадить колготки. Ножонки-топотушки отозвались мне уже в конце коридора. Идти было некуда, кроме как к месту для курения, затвержденному табличкой из оргстекла. Половинная арматура лестничного пролета вела от этого места куда-то в подвал.

— Мы зашли в тупик, — оптимистично встретила я приближающегося Киркегора.

— Разве я его обидел? — все еще попугайски держа головку набок, спросил он.

— Это так нетрудно, — элегически отозвалась я.

Кладбищев заспешил, засеменял. Ему, как и мне, было нечем подтвердить обстоятельство места: он наверняка не курил, ибо объем его легких был явно ниже одной затяжки:

— Но я совсем этого не хотел, — зашепелявил он с несколько избыточным слюноотделением. — Я хотел только уточнить. Ведь это огромная разница — «соломка» и «соломинка».

Для него всякая разница была неизбежно огромной.

— Я и из вашей лекции кое-что записал для уточнения.

Он потянул из кармашка кусок белокаменной кремлевской стены, в мире обычных стандартов — клеточный листок из блокнота.

— Вы что — начетчик? — спросила я тоном, немногим уступающим экономистскому. Мне казалось, что я заслужила более сердечного отношения.

— Значит, и вас бы я мог обидеть? — ошеломленно пропищал он.

— Какой же мужчина не мог бы обидеть женщину? — идиотически кокетливо парировала я.

— Вы преувеличиваете меня до мужчины, — усмехнулся Кладбищев.

Чувство юмора в философе ломало все стереотипы. Я несколько расслабилась.

— Малая величина. Горячий снег. Сладкая соль. Типичный пример паронима, — это я вам говорю как филолог филологу. Лично мне давно наскучило вечностуденческое словоблудие, сверяние часов бессмыслицы. А вам не наскучило уточнять исчезающие смыслы?

— Шмышлы? — задумчиво переспросил Кладбищев.

Под его башмачками не сплющивались даже посланные мимо урны окурки. Стояла холостяцкая безнадежная вонь.

— Но они не исчезают. Они еще не проявились. Я же уточняю только в пределах проявленного.

Его улиткообразная маковка маячила где-то на уровне моей правой груди.

— Все это мелочи, — сказала я. В моем носу ожил давно уснувший муравей, защекочивающий до публичных слез.

— И вкус к жизни — мелочь? — спросил он, внимательно и очень по-мужски присматриваясь ко мне снизу.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду Тейяра де Шардена. Утрату вкуса к жизни.

— Вас это пугает во мне или в себе?

— В вас. Мне понадобилось слишком много времени, чтобы оправдать себя применительно к жизни. Обретенное с таким трудом трудно потерять. Это ведь не шальные деньги игрока или грабителя.

— Но эта утрата заложена в чувстве греха.

— В чем ваш грех?

— В малолюбии. А ваш?

— В уродстве.

— Разве вы в этом виноваты?

Он снова зашепшил, разражаясь шипящими, как открываемый лимонад:

— Ах, неужели и вы связываете грех с виной? Здесь не вина, здесь деформация, отклонение от Замысла.

Муравей добился своего где-то на середине разговора, я не вытирала слез, и шея моя была в холодном компрессе:

— А «красота спасет мир» — эта расхожая максима безответственности не нуждается в уточнении?

— Как сказать... Конечно, она лишает таких, как я, презумпции существования по внешнему признаку, исключает из списков напечатленных. Но ведь не о журнальном варианте красоты речь. В Божественной среде нет некрасивых.

— Объясните это Регине Ольсен! — заревела я, институтски всхлипывая от сумасшедшей ревности.

Он прижался ко мне всеми своими дисфункциями — Кладбищев Замысла — и мы стояли в месте для курения, и ангелы курили нам, несмотря на то, что с точки зрения красоты мы наверняка были похожи на натурщиков для парковой композиции «Не оставляйте детей без присмотра». Но наш уточняемый по ходу дела смысл устремлялся ввысь и корреспондировал с Божественной средой. В страхе и трепете совершали мы спасение свое.

Недреманным краем глаза я видела, как Патронесса вошла с улицы, запасным земным слухом слышала ее кряхтенье и откашливание. Лекция близилась к концу, и она торопилась на поверку с подсчетом штрафных очков. Здесь нам с Киркегором сегодня не было равных. Походкой трезвого шкипера она, имевшая о спасении представление в рамках инструкции ОСВОДа, двинулась к месту нашего экзистенциального романа.

— Вот Старый Мореход, — производя ирригацию лица, продекламировала я. — Вот Старый Мореход. Из тьмы Вонзил он в Гостя взгляд...

Кажется, мне хватило ума оборвать цитату и про брачный пир и Жениха — близкого друга — пробормотать про себя. На физиономии Кладбищева появилось выражение Карлсона, собирающегося улететь:

— Должен признаться, я ее боюсь, — признался он.

Кричать о предательстве уже было поздно, да и кураж прошел. Я только спросила перед вечной разлукой со струсившим экзистенциалистом:

— Так что же вы здесь делаете? Как вы сюда попали?

— А куда меня еще пустят в мире, зацикленном на красоте и уверяющем полноценность по длине ног или ресниц? — обезоруживающе ответил он. — Я могу пристроиться только к безнадежно позавчерашнему...

В следующий момент он, проклятый отцом своим и проклявший напоследок наши так называемые ценности, шустро скатился по половинной лестнице и затаился во тьме, пахнущей проросшим картофелем. Патронесса, задымив, как трехтрубный крейсер, повела свою непрерывающую сагу о происках конкурентов на поле межпартийной брани.

Вечером, после очередного прощального банкета (мы все время пути только и делали, что прощались сами с собой), напоминающего слоновью свадьбу, с пьяными выяснениями политических позиций, с булыжными комплиментами *предпринимателей*, с тостами за процветание партии и ее лидера, мы уехали. Собственно, по физиологическим параметрам Кладбищев идеально этой партии соответствовал. Я поискала его среди опупевших участников, но от выпитого и съеденного они как-то странно разрослись, перекрыв проходы, проемы и прогалы.

Может быть, бедного Киркегора утащила андерсеновская земляческая крыса?

В лихорадочном отходняке, ритмически совпадающем с цуговым совокуплением вагонов, я успокаивала себя тем, что отсутствие ошибки, именуемое снобами красотой, вообще не моя тема. Но единственно плодотворная мысль вела меня туда, куда нельзя ходить без Киркегора, — к свободе признания этого отсутствия самой страшной, самой непоправимой ошибкой.

Вкуса к жизни у меня хоть отбавляй, особенно если согреться.



Александр Тимошенко

Родился в 1955 году в селе Сидоровка Романовского района Алтайского края. Окончил ТВВИКУ. До октября 1993 года служил в Вооруженных Силах. Пенсионер МО РФ. После службы работал в различных газетах Оренбургской области и Алтайского края. В 2015 году вышел сборник стихов «Провинции веков».

ЧИСТКА

Богатое алтайское село Бутырки теснилось на полуострове. С трех сторон его окружало большое озеро Островное. На крайней к воде улице располагался крепкий крестовый дом под тесовой крышей, с пригоном, баней и большим огородом. Соседние дома похожи. Видно, что люди зажиточные. Входная дверь дома, сколоченная из толстенных плах, бесшумно отворилась, и на крыльце появился средних лет, высокий, с солдатской выправкой, в стареньком кожанке и пимах хозяин усадьбы Анатолий Зосимович Пивень. Сказал супруге «гляну на погоду», но это был лишь предлог остаться хотя бы на несколько минут одному. Остаться и подумать о предстоящем ему тяжелом дне.

Чуть меньше десяти лет назад он вернулся из германского плена домой. Проехал, протопал пешком от Нарвы до Алтая. Мерз, голодал, отбивался от мародеров, слушал разных агитаторов, бывало, и сам спорил. Слава богу, зажили, построили крестовый дом под тесовой крышей, а в старом пятистенке сейчас летняя кухня. Там кашеварит его Гапа или Горпына, так Анатолий, смотря по настроению, называл жену.

Да-а-а! Домой прибыл солдат, а тут такое: колчаки, голубые гусары, чехи, партизаны, каратели, большевики, эсеры. Все друзья дет-

ства, с которыми когда-то почти половину улицы спалил, партизанят у Мамонтова. А он чем хуже! Все же лейб-гвардеец! Запряг коня в телегу, Гапа снарядила харчами и бельем, старшего сына посадил за кучера и поехал воевать к Мамонтову. Там в отряде встретил друга детства Васю Норенко. Он и предложил пойти к большевикам. В ячейке, кроме Василия, оказались и другие близкие и дальние соседи по Бутыркам. Вот так и стал коммунистом. А теперь — чистка!

До Первой мировой Анатолий Зосимович служил в 6-й роте императорского лейб-гвардии Семеновского полка. Здесь же командиром полуроты, младшим ротным офицером служил подпоручик Тухачевский Михаил Николаевич. В бою у деревни Пасечно под Лодзей в феврале пятнадцатого года их рота попала в окружение и почти вся погибла. Погиб и ее командир Веселаго Матвей Иванович. Геройски. После, когда отбили позицию у немцев, на нем насчитали больше двадцати пулевых и штыковых ранений. Уже глубокой ночью старший унтер-офицер Пивень вывел остатки роты из окружения. А Тухачевский оказался в плену без единой царапины. Говорят, спал. В девятнадцатом году Пивень мог бы встретиться с командармом Тухачевским в Омске. Мог, но не захотел. После того, как на Алтай вошли части Красной армии, всех командиров-партизан вывезли в Омск, в фильтрационный лагерь. Командир партизанской роты Анатолий Пивень проверку прошел успешно, и его отпустили домой.

Взгляд Пивня уперся в покосившийся забор: вода подошла близко. Скоро снег вовсе растает и озеро зальет огород. Потом, к концу мая, вода сойдет постепенно, но за это время можно набить острой идущих на нерест щук. Аграфена Федоровна, жена Пивня, пироги с ними печет. Пальчики оближешь!

Анатолий Зосимович прошелся в сторону пригона, открыл ворота. Все на месте — сани с поднятыми оглоблями, деревянная лопата для чистки снега, новая метла. На хозяйина смотрела старая корова Красуля. Ведерница, но вредная! Никого, кроме Гапы к себе не допускает. Так и норовит двинуть рогами.

Воздух будоражил запахами подтаявшего навоза и продегтяренной конской сбруи. Сквозь паутину обнаженного чернолесья золотились стволы сосен. Там высился бор, где летом полно грибов, ягод и молодых берез для веников. А еще много гадюк. Одна-

жды весной Анатолий Зосимович переплыл озеро — надо было вырубить жердину — и в бору столкнулся с клубком гадюк. Те видно только что оттаяли после зимы, переплелись, скользили друг по дружке и медленно расплзались в разные стороны. Увиденное оказалось настолько жутким, что взрослый серьезный мужик, забыв, зачем приплыл, бросился обратно в лодку.

Третий день идет чистка. Сегодня настал черед Пивня чиститься в клубе, в бывшем амбаре лавочника Ильина. Тот хранил в нем зерно, а сейчас вот культура!

Заседание проверочной комиссии по чистке рядов партии вела известная товарищ Мусихина из Барнаула. В партии она оказалась по ленинскому призыву, в отличие от Пивня, вступившего в нее еще в 1919 году накануне боя у Сидоровки. Тогда же никто не знал, чем все закончится. Колчаковцы подвезли батарею трехдюймовок, их пулеметы простреливали всю Донскую улицу, где залегли партизаны. Били по хатам и избам, простреливали насквозь огороды. Пули так и свистели. Партизаны окопы вырыть не успели, лежали в канавах. Это не то же самое, что окоп в полный рост — голову спрячешь, мягкое место торчит, место спрячешь — голову пуля может достаться. Вот тогда Зосимович и подал комиссару отряда, благо он лежал рядом, заранее написанное заявление о вступлении в партию большевиков. Хорошо, что в том бою победили партизаны!

В двадцать первом году всем стало ясно, что советская власть надолго, и когда Анатолию Зосимовичу предложили возглавить волостной исполком, он без всякого колебания согласился. И не потому, что власть. Побоялся, что должность достанется малопригодному для этого человеку. Так и покатила жизнь. Волость превратили в район. Волостной исполком стал районным. Дом новый построил. Гапа родила еще двух сыновей. Двор был полон живности. Что еще надо? А тут эта чистка!

Да, Мусихина в партию пришла позже, но какую сделала карьеру! И причина ее стремительного роста тоже известна — ее страстная беспощадность к врагам революции. Эту беспощадность боялись все, в том числе и товарищи по партии. Коммунист Пивень тоже не хотел бы с нею встречаться. Он несколько раз видел этого партийного инструктора из окружка на заседаниях в Барнауле и всегда поражался мощи ее тела и низкому со стальными нотками голосу. Не-

смотря на свою басовитость, он звучал чисто по-женски. И, если бы таким голосом ночью подруга ворковала, любой бы мужик растаял. Но с лозунгами, призывами и угрозами это было что-то свирепое!

Рассказывали, что раньше Мусихина работала формовщицей в чугунолитейке на механическом заводе «Серп и Молот». Невысокая, коренастая, как говорится, что в высоту, что в ширину, в красном революционном платке, с угольно-горящими глазами и мрачным, неподвижным взглядом. Смотрит в упор, не мигая, и сразу холод и ужас разливаются где-то под сердцем собеседника. Одним словом, гадюка. Это кто-то верно подметил.

Несколько раз слушал ее выступления с трибуны. На первый взгляд, казалось, она говорила просто и ясно. Создавалось впечатление, что словами гвозди вбивает. А когда начинал раскидывать мыслями после ее речи, то приходил в ступор: высокоидейная мешанина из лозунгов и положений партийного устава и не более того. Ни одного своего серьезного предложения или заявления.

Рассказывали, что весной двадцать четвертого года, как раз ленинский призыв в ВКПб, Мусихина после смены зашла в комсомольскую ячейку и попросила, чтобы ее зачислили в ряды передовой молодежи. Но тамошний заводской секретарь комсы Толя Городилов буркнул ей в ответ, мол, сначала найди мужа и вступи с ним в брак, а потом приходи к нам. Какой бес его дернул за язык? И еще добавил что-то в адрес ее женской фигурности. Тогда Мусихина вступила сразу в партийную ячейку, и так ошарашила всех своим напором, что уже через полтора года стала секретарем парторганизации. А потом пошло и поехало. Вот сейчас руководит в округе чистой партийных рядов. Что же касается Толи Городилова, то в конце прошлого года он не прошел чистку. Где он теперь, одному Богу известно. Правая рука Пивня при этих словах потянулась перекрестить душу, но сидящий в ней коммунист ее одернул. Бога нет, и никогда не было! Подумаешь по иному, среди своих ляпнешь — потеряешь все.

В январе Пивень заезжал на завод, хотел купить кривошип на лобогрейку и такого наслушался о товарище Мусихиной от нового комсомольского вожака и своего племянника Леша Приступенко, что, вернувшись домой, несколько ночей не спал, все ворочался и размышлял о будущем своем и семьи. А вдруг и его вычистят?

Племянник, так сказать, по-родственному дома вечером за столом проинформировал о происходящем. С его слов выходило, что за самые малые прегрешения гонят вон из партии. Пощады нет никому. Крикнет кто-нибудь из зала, что он пристаёт к чужим бабам и все! Спекся! А он что, деревянный, не заигрывал что ли с молодайками? А товарищ Мусихина посмотрит на это под своим партийным углом и решит, что он настоящий кобель, и все. Только и вспомнят потом, что жил когда-то курилка, как получилось с Городиловым.

И совсем уж по секрету, когда пошли на улицу до ветру, племянник прошептал, что с Городиловым совсем плохо. Его взяли в оборот такие товарищи, с которыми лучше не встречаться.

«Нет, об этом не надо думать», — пронеслось в голове коммуниста. Но как не думать? В первый же день вычистили двоих: Никиту Уськова и Василия Бочкина. По первому Мусихина заявила, что он ведёт крестьян не к социализму, а к капитализму. В чем это заключалось, никто не понял, но Уськову «пришла хана». А Бочкин на вопрос о правом и левом уклоне, в сердцах заявил, что может в городе и кому-то интересно трепаться по этому вопросу, а ему некогда. И то правда, девять детей мал мала меньше у Бочкина, а жена носит еще одного. Их же прокормить надо! А одеть? А обувь? На это председатель комиссии разрядилась жаркой речью. Одно из нее понял Пивень, что именно такие, как Бочкин, и губят страну.

Подмывало задать вопрос, сколько детей у самой Мусихиной, и как она их воспитывает? Хотя ответ знал, ни одного. Зудело внутри так, что вспотел, но смолчал.

На второй день сторел многолетний бессменный секретарь РИКА Митрохин. Нет, у народа к нему претензий не оказалось. Не так давно Ирка Сапрунова показала ему гарбуз, вынесла то есть сватам тыкву, что означало, не желаю, мол, идти замуж. После такого позора парень совсем ушел в работу. Дневал и ночевал в своем закутке. Любые справки — в тот же момент. Какая тут бюрократия? Но под конец обсуждения, когда все склонялось к тому, что Митрохин пройдет чистку; председатель комиссии встала во весь рост, поставила на стол портфель из желтой кожи и достала оттуда какую-то бумагу. Все это делала медленно и с достоинством. В документе говорилось, что наверху — Митрохина по-

казала пальцем в потолок — отец Митрохина признан кулаком. Выходило, что сам Митрохин — сын кулака.

О чем после этого говорить? Вчера же пришлось его уволить из РИКа, а бессменный с времен партизанства вожак партийной ячейки Норенко отобрал партбилет. Такие вот дела! Получается, что Ирка оказалась бдительнее красных партизан. Но с другой стороны, и Митрохин с отцом воевал с «колчаками». Дошел до Читы, и там его ранило.

Просмотрели! Хотя как сказать? После Гражданской войны все начинали одинаково. Кулаков в этих сибирских местах отродясь не бывало. До революции жил один лавочник, так тот давно сгинул. Это сейчас у Митрохиных дом-крестовик, крытый тесом. Кстати, на той же улице, где и дом самого Пивня. И Анатолий Зосимович видел, как Митрохины строились. А сначала-то, помнится, в их дворе стояла стопочка из бревен под соломой. Развалюха из развалюх. В три погибели сгибались, чтобы войти в единственную комнату. Сволок подпирает столб. Кто-нибудь постоянно был к нему привязан: то дите, то теленок. Но как сам Митрохин с женой работали! Жилы рвали и себе, и старшим детям. Вот постепенно и выкарабкались из нужды. А вскоре и жирок появился. Не валялись на печи, не бездельничали, не пьянствовали и стали справными хозяевами. Как же так получается? Теперь, значит, их в кулаки! За то, что никогда не были шлындами?

Собираясь на чистку, Пивень сначала натянул на ноги, обмотанные портянками, по уставу императорской армии без единой морщинки, хромовые офицерские сапоги. Он их выменял в двенадцатом году, сразу же, как вернулся из германского плена, за пуд муки в Барнауле на базаре у какой-то городской мамзель. Как их увидел тогда в руках у нее, так аж сердце заныло. Замечательные сапоги! Подобные у Пивня были в империалистическую войну. Но когда в семнадцатом году под Тарнополем контуженым попал в плен к немцам, гансы без всякого стеснения содрали их. Вместо сапог, дали старенькие растоптанные, но еще крепкие, обувки. Так в них и протопал под конвоем сначала по Польше в Германию, потом обратно домой.

Из горницы вышла его Горпына и спросила, мол, не сошел ли он с ума, собираясь в хромовых сапогах на чистку?

— Гляди, вырядился, за них и вычистят, — заявила она. Сказала и удалилась по своим бабьим делам — заплакал младшенький. Двое старших еще в рань улизнули из дома.

Анатолий Зосимович посидел, подумал, прикинул так и эдак, и понял, что жена права. Снял сапоги и одел привычные, многажды подшитые, чесанки с галошами.

Двери в клубе стояли нараспашку, из них густо валил махорочный дым. «Народу набежало», — подумал про себя Пивень и криво усмехнулся. Кто же откажется от бесплатного цирка? Не каждый день чистят председателя РИКа, районного исполнительного комитета!

Полутемный зал и вправду оказался забит под завязку и гудел растревоженным ульем. Вошел в помещение, потемнело в глазах. На улице яркое солнце, а здесь завеса из дыма и полумрака. Окон не было, и свет проникал в помещение только через двери. У самых дверей он увидел своего старшего сына Прокопа. Рядом с ним сидела Шурочка Ященкова. «Стервецы! Уже в открытую крутят! Скоро, значит, тятя готовься к свадьбе?» За сыном по каким-то неясным признакам он стал узнавать остальных сидящих в зале. Почти с каждым мужиком рядом сидела его законная супруга. Когда совсем взгляд пообвык, увидел в дальних углах от стола, накрытого красным кумачом, хихикающих девок и подпирающих стены парней. «И этих принесло сюда! — неприязненно подумал кандидат на чистку. — Не могли по домам посидеть или найти другое место для своих игрищ».

Мужики и парни курили. Комиссия — тоже, в полном составе. Восседа за столом, с отсутствующим взглядом, дымила самокруткой и Мусихина. Всем своим видом она показывала, что к этому деревенскому шалашу не имеет никакого отношения. Ее персона — выше всех глупостей и шушуканий.

На приветствие Пивня в зале раздались выкрики. Народ здоровался с председателем. Мусихина, не меняя позы, вынула козью ножку изо рта и задала вопрос:

— Почему опаздываем, товарищ Пивень?

Анатолий Зосимович только пожал плечами. Сказали, что его чистка ближе к обеду, вот он и пришел. А обед еще не наступил.

— Товарищи! Товарищи! — Мусихина медленно поднялась со своего места.

Зал постепенно угомонился, замолк. Все лица повернулись в сторону президиума и Мусихиной:

— Сегодня мы будем чистить председателя РИКа, коммуниста, товарища Пивня. Товарищи, партия придает большое значение этим чисткам. Она требует очистить ее от примазавшихся к ней, требует разоблачить врагов. Как говорит товарищ Сталин, чем ближе мы к социализму, тем все более усиливается классовая борьба. Вы думаете, что враги где-то там, далеко. А они у вас под носом. Разве ваш бывший секретарь РИКа, скрывший свою принадлежность к кулакам, не враг? Это еще как повернуть! Он же, наверняка, посвящал своего отца в планы исполкома. А тот ставил в известность остальных кулаков. Или те из коммунистов, кто призывает работать коллективом, вступить в колхозы, а сами туда не спешат.

От этих слов Пивня передернуло. Он прекрасно знал, что обычно следовало вот за такими речами. Если Митрохин враг, то получается, что он покрывал этого врага. Вывод очевиден. Председатель почувствовал, как по его лицу покатился крупными градинами пот. Такое бывало только в жаркий день на косовице.

Но товарищ Мусихина судила несколько по-иному:

— Можно было обвинить в попустительстве одного председателя Пивня. Но не следует забывать о секретаре ячейки коммунисте Норенко. Председатель РИКа — руководитель, очень загруженный хозяйственными делами. На нем весь район. Сколько у вас в районе деревень? Тридцать четыре! И за всеми нужен присмотр! Он мог и упустить такой важный момент. Это не значит, что я с него снимаю вину, но у Алексея Зосимовича есть на первый раз оправдание. Видно, он замотался. Район на хорошем счету у округа. А вот товарищ Норенко обязан был знать, чем дышат его коммунисты. Обязан, но он не знал! Вот в чем вопрос!

Речь главной по чисткам Пивень слушал, затаив дыхание. А когда понял, что председатель комиссии на его стороне резко выдохнул воздух из легких. Да с таким шумом, что соседи обернулись. В его ногах сразу появилась сила, и, когда его пригласили на сцену, председатель прошел туда упругим шагом старого строювика. Много раз он находился на ней, но или стоял за трибуной, или сидел в президиуме. Сегодня приходится стоять посередине сцены под сотнями взглядов, словно породистый жеребец на продажу.

И хотя сердце несколько успокоилось, пот все равно продолжал обильно выступать на лице. Председатель РИКа уже ругал себя за то, что надел романовский полушубок и смахивал рукой испарину. Но с другой стороны, в пиджаке-то — не по погоде.

Уже на сцене до него дошло, что нужно делать, чтобы спасти и себя, и семью:

— Товарищи, в нашем районе, как уже сказала товарищ Мусихина, тридцать четыре села и выселка. Уже четвертый месяц ведется коллективизация. По моему твердому убеждению руководителя и коммуниста, ведется она очень и очень плохо, можно сказать даже безобразно. Во всех ячейках прошли собрания. Они решили, что все коммунисты и кандидаты вступят в колхозы, более того — возглавят коллективы. А на деле что получается? Даже сам коммунист Норенко пока очень далек от колхоза. Второй момент. Советская власть много делает для воспитания подрастающего поколения. В Бутырках, в школе до этого года действовала пионерия. И где она? Я лично несколько раз обращался к Норенко, чтобы он выделил вожатого из коммунистов или комсомольцев. Не мог же я допустить к пионерам кого попало! Так и не определились с вожаким пионеров! А вожаким нет — нет и организации. Это же известно всем! А с комсомольской организацией что происходит?

— Что происходит? — Мусихина подалась всем своим телом в его сторону. Это ее, как видно, о-о-чень заинтересовало.

— А то! Норенко их не считает за серьезных людей и не доверяет им.

Зал загудел.

— Что не так, что ли? — Пивень обратился к залу.

Послышались выкрики в его поддержку.

— А комсомол почему молчит? — это уже пророкотала Мусихина. В зале поднялся вожак комсы Бочкин.

— А что? Товарищ Пивень правду говорит. Норенко не только нас с собраний выгоняет, но и батраков с бедняками.

Наступила такая тишина, что было слышно, как кто-то из девок шлепнул кого-то по руке.

В этот момент поднялся Норенко. Он тоже, оказывается, сидел в зале.

— Кого сегодня чистят меня или Пивня?

Но его вопрос потонул в гуле голосов.

Мусихина услышала заявление секретаря партиячейки! Она встала из-за стола, и зал притих:

— Пивня чистим, товарищ Норенко. Но как же так получается — вместо Пивня вас начали чистить. Вот о таких, как вы, и говорит товарищ Сталин. Забюрократились, без души относитесь к своему делу, не по-революционному, не по-большевистски.

И уже в гробовой тишине обратилась к Пивню:

— Товарищ, расскажи сначала свою биографию.

— Хорошо. Сейчас, — Анатолий Зосимович хотел назвать Мусихину по имени и отчеству, но не смог вспомнить. После некоторой паузы продолжил:

— Хорошо, товарищ Мусихина. Биография у меня обычная крестьянская. Родился в Малороссии под Сорочинцами, в Яцинах. В седьмом году мой покойный тятя от безземелья решил перебраться на Алтай. В одиннадцатом на Масленицу меня женили, а в ноябре забрали в армию. Когда служил в Питере, пришло письмо из дома, что Гапа ждет ребенка.

Анатолий Зосимович не стал рассказывать, как он служил царю-батюшке. Да ни где-нибудь, а в лейб-гвардейском Семеновском полку. Как там же, в полку, сначала окончил начальную школу с похвальным листом, а потом другую — унтеров. А в начале четырнадцатого принял под командование взвод, и его благородие поручик Тухачевский, будущий герой гражданской войны, благодарил за службу и говорил, что он прирожденный солдат. Не стал говорить и о полном георгиевском банте, равном четырем Георгиевским крестам и стольким же медалям. Немцы кресты не тронули, а свои за них могут и к стенке поставить.

— В семнадцатом немцы пошли в наступление. Помню, что-то тяжеленное шархнуло по всему телу, и я потерял сознание. Оказался в плену. Когда оклемался, отправили в Дойчланд на работы к местным помещикам, юнкерам по-ихнему. Жили вместе со скотиной. Потом опять собрали всех пленных в округе и погнали на восток. Сказали, что война закончилась, и мы им больше не нужны, но если кто хочет, может остаться. Пару человек осталось. Закрутили с местными девицами шуры-муры. Дома побыл всего ничего. Колчаковцы объявили очередную мобилизацию,

и я уехал к Мамонтову. А дальше всем все известно. Да, тятя погиб сразу же после того, как меня взяли в солдаты. Подрядились они с соседями строить дом лавочнику. Когда клали последний венец, тятя был внизу, а лесина возьми да и сыграй. Мужики не удержали, она и ударила по родимому. Говорят по голове. Умер почти сразу.

— Ладно, товарищ Пивень, кто там у вас был отец плотник или поп, поди теперь разберись, — неожиданно прорезался голосом второй член комиссии. Всего их было трое вместе с председателем. И все из города.

Народ в зале зашумел. Они-то хорошо помнят эту историю. Не каждый же год лесинами убивает. Вот от оспы детишки мрут каждую неделю. Попробуй, запомни! А лесиной не-е-ет, больше такого и не было!

— Нельзя так, товарищ Кошеватов, — одернула Мусихина. — Нужно же понимать. Его значит под ружье, защищать проклятый царизм, а отца под лесину лавочника-мироеда. И над этим смеяться?

Мусихина замолчала, молчал зал, молчал и чистившийся.

— Вот товарищ Пивень не сказал, какого сословия его жена, — задал вопрос Кошеватов.

— Как какого? — кто-то выкрикнул из зала. — Женского! Ох, и сдобная!

Народ засмеялся. Серьезными оставались только сама Мусихина и Пивень.

— Моя жена крестьянского сословия. Из бедняков. Была неграмотной. Недавно ликвидировала свое отставание.

— А почему же ты ее не пускаешь вступать в партию? — подал голос секретарь ячейки Норенко.

— А и вправду, почему? — заинтересовалась председатель комиссии.

— Товарищ Мусихина, до ликвидации свой безграмотности Аграфена Федоровна была не готова стать активным бойцом нашей партии. Сегодня утром, как раз у нас состоялся очередной разговор на эту тему, и она завершила меня, что в начале следующей недели подаст заявление в партию. Так что, я ей никогда не препятствовал. Наоборот, изучал с ней устав и политическую программу. Мы выписываем газету «Правда» и каждый вечер вместе ее чи-

таем. Благо, что сейчас керосину в достатке. Ни то, что при царе! Моя супруга в курсе событий.

Он брехал, откровенно брехал, как самый пропащий деревенский кобель, но не мог остановиться. Это потом, после чистки, его бросит в холодный пот только от одной мысли, что кто-нибудь из членов комиссии взял да и проверил бы его слова. Его Горпына не только не читала газет, но считала, что он зря на них тратит деньги. Столько лет ему пилит загрибок, мол, РИК получает газеты и этого достаточно. А тут еще и изучает!

Дальше оказалось значительно легче. На вопрос о правом и левом уклоне он еще дома заготовил ответ — всегда шел курсом партии. В местной газете критиковал и тот, и другой. Можете проверить!

На что Мусихина ответила:

— И проверим, — от сказанного повеяло холодком.

Выручил Зосимовича вопрос из зала про батрацкие собрания. Они шли почти каждый вечер в РИКе и он в них принимал самое активное участие. Об этом и поведал комиссии под одобрительный гул народа.

На его весы упали и слова вдовы Макаровой:

— Что вы! К нашему председателю хоть днем, хоть ночью. Всегда поможет. Помню, у меня стена почти прогорела в хате. А дело оказалось в январе.

Было такое. Печка оказалась никудышной, кирпичи потрескались, а стена саманная: солома с глиной. Вот и зашаяла. Благо, что соседи увидели.

— Все понятно, — остановила Макарову председательша. — Вы, собственно, кто?

— Я? — вопросом на вопрос ответила женщина. — Я — вдова красноармейца.

— Тогда все понятно. Мы учтем ваши слова, записывая резолюцию по товарищу Пивню.

Домой Пивень не шел, а летел. Чистку он прошел. Более того, Мусихина Анастасия Ивановна, так зовут, оказалось, председательшу, сказала, чтобы он, будучи в Барнауле, без всякого стеснения заходил к ней. И еще попросила лично в понедельник вести комиссию на железнодорожную станцию.

Кристина Кармалита

Родилась в Новосибирске в 1984 году. Окончила факультет психологии НГПУ, сценарный факультет ВГИК. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Наш современник», «Огни Кузбасса», «После 12» и др. Автор сборника стихов «Сны стеклодува» и сборника пьес «Голоса». Член Союза писателей России. Лауреат молодежной премии журнала «Наш современник» (поэзия, 2015), драматургических конкурсов: «Евразия» (2014), «Филатов Фест» (2017). Живет в Новосибирске.



Подобие весны московских улиц
 Налипло грязью вымокших ботинок.
 О, этот горький вечный поединок:
 Природа человеку кажется дули,
 Пока он утверждает господина.

Москва, Москва, оставь меня, оставь.
 Я здесь случайный неуютный житель —
 Подержанный пустой огнетушитель.
 Москва — огромный огненный состав.
 Дрезину мне! И больше не держите.

Нет места человеку на Земле.
 Тем более в Москве ему нет места.
 Он бежит по лужам, месит тесто,
 Но чем быстрее, тем взгляд его дохлей
 И говор злей и хочется протеста...

Бунтует человек среди Москвы.
Ах, как я понимаю эти волны!
Их дикий шум — неистовый, разбойный,
Масштабы операций восковых
И вёдра новогоднего попкорна...

В Сибирь, в Сибирь! Скорей и навсегда.
Пока душа еще надёжна в теле,
Пока я помню ель и запах ели,
Пока стоят другие города,
Я — из Москвы. Уже на той неделе!

От люстры до потолка — провод
От Земли до Луны — холод
От рождения до смерти — пролог
От меня до тебя — Бог

катился шар катился шар земной
из ночи в ночь от севера до юга
покоен летом раздражён зимой
а мы бродили по сердцам друг друга

катился шар гудел не уставал
из года в век от города до луга
катился шар горел и остывал
а мы дрожали друг напротив друга

шумело всё ревело голосило
я за тобой была ты был за мной
неведомая неземная сила
катила между нами шар земной

катился шар гасила день свеча
катился шар ходила ночь по кругу
катился шар и целый мир молчал
который мы могли сказать друг другу

сплетает осень жёлтые косички
ты снился мне весной
немой
с набором игл в вагоне электрички
не мой

и я купила пачку за бесценок
ты нёс домой
жене немного денег
я унесла немного от тебя
с собой

по осени сшивают что порвалось
весной
я зашивала плащ твоей иглой
меня сшивала малость
иглы — с тобой

Отчего это так беспокойно
Будто где-то набат
Будто в доме гуляют разбойно
Будто я виноват

Может это по полю ночному
Всадник скачет шальной
Оттого что желанью печному
Дан ответ ледяной

Может это попала синица
Под замок чьих-то рук
И теперь ей желанная снится
Кромка неба вокруг

Или это у матери милой
Тихо сердце болит
Оттого что однажды могилой
Тоже буду облит

Отчего ж это так беспокойно
Будто спишь в гамаке
И приходят известия: войны
И повестка в руке

Болеет парус одинокий
В краю родном,
Его не манит пир далекий,
Не гонит дом.

Он знает бури смех суровый,
Тоску в тиши,
Он видел, как теснят оковы,
И мрут паши.

Под ним волна игриво бьётся,
Над ним — портал,
А он не плачет, не смеётся,
Он жить устал.

Возможно, ваш компьютер заражён,
Возможно, завтра будет непогода,
Возможно, режет кухонным ножом
Сосед за стенкой ручки у комода.

Возможно, я сказала не про то,
Возможно, ты подумал не об этом.
Висит в шкафу осеннее пальто,
А я его сносила этим летом.

Всё невпопад, и в спину отдаёт
Грудная боль, а думалось: едва ли
Сегодня будет дождь. И крепнет лёд
Забывтой в морозилке «Цинандали».

Но будем завершать. Возможно, ты,
Возможно, я, возможно, мы, возможно...
Лежат на клумбе мёртвые цветы,
Задетые рукой неосторожной.

под звездным куполом-отцом
я ни жена ни мать
мне заповедано гонцом
ромашки собирать

венком целебным сторожить
покой ночных голов
я попросила б просто жить
но мне не дали слов

иногда происходит со мною
происходит со мной иногда:
одиссей нападает на трюю
зеленеет в стакане орда

мне случается трепетно пушкин
мне бывает томительно блок
я висела сегодня на мушке
я почти что спустила курок

иногда происходит со мною
происходит со мной черт-те что:
бабка в зеркале с длинной косою
померещится светлой мечтой

за окном разухабился город
а над городом «сушки» парят
а над «сушками» ласков и воланд
синий космос меняет наряд

а над космосом? что-то со мною
происходит со мной навсегда:
темно-сине-зеленой волною
накрывает суда без следа

покрывает прохладной ладонью
раскаленный в испарине лоб
золотую улыбку мадонью
разливает всемирный потоп

всё что есть — происходит со мною
проникает как в почву вода
дверь входную я робко открою —
никогда не закрыть никогда

со мною происходит что-то:
учеба — сумерки — работа —
стучат настенные часы —
скрипят небесные весы

но что, скажите, Бога ради,
мне грезится в пивной отраде?
приходит вечер, с ним стакан —
прозрачен, призрачен и пьян

а этому — в большом диване,
уставшему, как дядя Ваня —
кому на груди руки класть?
он тоже рад на дне пропасть

о, сколько нервных и недужных
ненужных дней, ночей ненужных —
во мне уже оледенелость

о, кто-нибудь, приди, обрушь
июльских звезд ночную спелость
на омертвелость зимних луж

Анатолий Кирилин

Родился в 1947 году в Барнауле. Автор двенадцати книг прозы и публицистики, изданных в Сибири и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.



ОТ ОСЕНИ ДО ОСЕНИ*

Письма к Мясникову

Предисловие

Мы познакомились в Абрашино, деревне, притулившейся на берегу Оби, где она еще не совсем река, но уже и не море, оставшееся чуть ниже по течению. Здесь она покуда не успевает вобрать в свои воды ила, мутной глиняной взвеси и течет в песчаном ложе прозрачная, чистая. Сосновый бор обнимает село, краями подходя к самому берегу. Глушь! Красота!

Владимир Берязев, новосибирский писатель, построил там дом и пригласил к себе в гости. Дорога до Сузуна отличная, а дальше — сотня с лишним километров по тряской щебеночной насыпи. Абрашино мы проскочили, отметив на ходу один из домиков с оригинально раскрашенными ставенками и наличниками.

— Это, наверно, дом художника, — сказала моя спутница, знавшая, что где-то тут живет и художник.

Остановились на дальнем конце села и увидели, что далеко позади нас кто-то вышел на дорогу и смотрит нам вслед. Скорее всего, нас и высматривает. Это был наш друг Берязев, он, оказывается, поджидал наш экипаж во дворе того самого, раскрашенного домика.

* Часть вторая. Первая часть опубликована в журнале «Алтай» № 4, 2010.

— Данила Меньшиков, — представился хозяин и представил свою жену.

Это имя было мне известно, как и его картины. Хороший художник, его женские портреты, где некоторые детали подчеркнута преувеличены, но не искажены, где краски и линии, на первый взгляд, вступая в противоречие, в конце концов, сходятся в безусловной гармонии и остаются перед глазами надолго.

Был во дворе еще один человек, некто в темном свитере с оттянутыми рукавами, в очках с толстыми стеклами, из-за которых на нас глядели насмешливо-недобрые глаза.

— Читал ваши тексты, — бросил он вместо приветствия. — В журнале. Читал, да.

Некто оказался Николаем Мясниковым, художником и писателем в одном лице. Мы со спутницей переглянулись, подумав, очевидно, об одном и том же: вот вам компания — писатель, художник и писатель-художник. Впоследствии выяснилось, что Мясников по основной профессии график, в писатели попал не так давно и по чистой случайности. Ничего удивительного, на мой взгляд, большинство именно так туда и попадает.

Нас и вправду ждали, нам обрадовались, нас кормили ухой из только что пойманной рыбы, судаком и окунями горячего копчения, приготовленными прямо тут, в коптильне, разожженной во дворе художника. Мы пили вино из больших бутылей, пели песни, смешили друг друга. Нам было хорошо.

— Нет, вы должны непременно сегодня посетить мое жилище! — настаивал Мясников, когда мы в очередной раз поднимались из-за стола, чтобы отправиться на ночлег.

— Завтра, ладно? Никуда же оно не денется, твое жилище!

— Нет, сегодня!

— Вы, наверно, задумали тут творческую колонию организовать? — спросил я, выходя за ограду. — Этакое Переделкино местного значения.

— Не получится, — в один голос ответили Берязев с Меньшиковым. — Вон, видишь — они показали на распахнутые ворота, за которыми в глубине двора стоял джип. Двери автомобиля открыты настежь, динамики надрываются изо всей мочи — даже на другой стороне улицы земля под ногами подрагивает. — Тре-

тью ночь не спят, жизни радуются. Племянник прокурора, за забором больше двух гектаров земли. И таких тут с каждым сезоном прибывает. Самим бы скоро не сбежать отсюда.

— Это вы так считаете, — вступил в разговор Мясников, — вы, летние птахи, такие же, как и они. Зимой тут даже мысль о том, что где-то есть города Москва и Новосибирск, кажется невероятной. Все вокруг заметено снегом, дороги никуда не ведут. Собаки ходят к магазину на людей посмотреть...

Очевидно, сейчас он говорил для нас, новеньких, старожилы все это давно слышали. Посмотрел на открытые ворота напротив.

— Сейчас все можно — возьми винтовку и застрели дядю Сашу. Только глушитель надень. Но зачем же его музыкой убивать?

И он пошел по улице, пошатываясь и размахивая руками.

— Кто это, дядя Саша?

— Да вон, сосед прокурорский.

Назавтра я проснулся раньше всех. Мясников уже поджидал на крыльце берязевского дома.

— Пошли!

И он отправился со двора, не дожидаясь согласия или отказа.

Дом его — обычная крестьянская изба, пятистенок, рубленая не менее полувека назад. Она, возможно, простоит еще столько же, а, может, завтра завалится — так непонятно с виду ее состояние. Небрежно как-то все, неопрятно: тут прореха, там дыра, крыльцо съехало набок, козырек над ним прохудился, окна посунулись к земле... Огород большой, повсюду пузатятся ярко-оранжевые тыквы, кучи несобранной ботвы, вторым забором стоит вдоль покосившейся и местами поваленной изгороди крапива в полтора человеческих роста...

Как бы там ни было, он здесь, в отличие от своих друзей, живет не дачником, это его самый настоящий дом. Внутри все завалено мешками, кулями, ведрами, связками лука, горького перца, решетками с фасолью, горохом. Все понятно, заканчивается уборка урожая, идет заготовка, засыпка, закладка...

Он подарил мне две своих книжки и сказал:

— Кошмарное время — когда всех своих читателей знаешь в лицо.

Потом мы сидели на крыльце, дегустируя блюдо под названием «хреновина». Он долго внушал мне, что открыл новое слово, нет, не слово — целый понятийный мир — таковость.

— Здесь мыши особенные, — перевел он разговор на хозяйственные темы. — Сначала они залезли в банку с олифой. Много их там было, думал, все утонули. Не-ет! Пришли новые, сожрали яду на тридцать пять рублей, пиво стоит меньше. И хоть бы что!

— Может, дать им самогонки? — предложил я, чувствуя, что сам поднять следующую рюмку уже не в силах.

— Ты что! Понравится — своих понаведут!

Потом мы несли всякую пьяную чушь. Мясников убеждал меня:

— Самые лучшие дураки — умные. Они становятся дураками со всей силой своего ума.

— А я хочу большой огород — вот как у тебя.

— Большой огород — это обязательно, — поддержал мою мысль Мясников, — чтобы поменьше общаться с соседями. Иногда так хочется пострелять в них! Вот тот, справа, говорит мне: купил бы корову, жил бы, как человек. — Во дурак, да? И работай на нее с утра до вечера! Я от молодой, красивой жены избавился — и счастлив. А тут — корова!

Потом я ушел. А потом уехал. И больше мы не виделись.

Дома я открыл его книжку. В правом верхнем углу первой страницы он нарисовал себя. Изобразил, так сказать, графически. А ниже написал:

«Надо быть достаточно наивным человеком, чтобы рисовать картинки.

И надо быть еще наивнее, чтобы придавать этому занятию сколько-нибудь серьезное значение.

Меня всегда называли художником, но лет десять или пятнадцать назад я вдруг заметил, что жизнь моя разделилась на два потока.

Один составила графика, другой — литература.

Опыт созерцания превращался в линию, опыт социального существования — в слово.

Жить в этих двух потоках оказалось неудобно, как неудобно жить на два дома. Только и делаешь, что перебегаешь из дома в дом, чтобы слегка навести там порядок.

Пытаясь облегчить себе жизнь, я приспособил фразу к своему короткому дыханию, дыханию много курящего человека, а линию — к естественному движению руки.

И в тот момент мне даже показалось, что у меня что-то начинает получаться.

Надо отдать должное деликатности моих коллег: с этого времени писатели признали меня художником, а художники признали писателем.

Таким образом, я лишился сразу двух, пусть несколько легкомысленных, но все же профессий...»

Потом я прочел несколько его рассказов. Нервно, нервно, замечательно! Записки сердцем, нервами, не знаю, чем еще.

Обрывочные воспоминания, странные впечатления. Новые знакомые — все разные и все никому не нужные. Заросшие огороды, скудные столы, если не считать рыбной вечеринки по приезде. Самой деревни почти не видно, какая-то обочина жизни, и тут же — дорогие джипы и прочий карнавал. Слова. Из слов прозрачная ткань бытия, эфирное состояние, сюжет. Но что такое сюжет, если не часть жизни? И все-таки — нужно как можно больше новых знакомых и как можно меньше — старых. Все слишком быстро покрывается плесенью, становится прахом.

Большой дом — это просто загородный дом Владимира Беряева, в котором можно отдалиться от мира. Но... Рыба не клюет — и все теряет смысл.

— Меня с утра тянет к дзенам.

— Вот с утра с этим поосторожнее.

Грузин, бывший руководитель крупного строительного управления, занял территорию в несколько гектаров. Завел десяток коров, полсотни свиней, несчетное количество кур, уток, индюков. Работягам, нанятым из местных, платил натуральным продуктом. Любил сам делать сулугуни — заквашивал, варил, вытягивал в резину. Колдовал над сыром — и превращался в старую грузинку. Умер — скотина разбрелась, птица разбежалась, свиньи визжат от голода, коровы режут. Батраки ушли. Потом один вернулся и поставил условие молодой вдове: порядок наведу, а жить будешь со мной. Куда тут денешься...

Мраморное озеро на подъезде к Абрашино. Скорее — бирюзовое в мраморных берегах. Окуньки, будто пером расцвеченные — черточка к черточке... Тайна леса, тайна озера, тайна слова. Нет жизни, есть сюжеты. Люди не могут не мучить друг друга.

Как уже было сказано, мы больше не виделись. И писем друг другу не писали. Друг другу. Но я ему писал. Не отправляя и, разумеется, не ожидая ответа. Писал беспорядочно и обрывочно, не отдавая себе отчет, зачем я это делаю. Просто так. Так просто.

И еще одно. Напоследок. Тогда, в Абрашино, рано поутру, будучи еще трезвым, Мясников сказал:

— Когда-нибудь я умру. Но перед тем на несколько замечательных секунд я приду в сознание. И мне откроется весь этот удивительный мир. Я увижу все в мельчайших деталях и подробностях, все — что со мной было. И всех — кто был со мной.

Неужели же, Коля, чтобы поймать этот миг — обязательно надо умереть?

Письмо первое

Здравствуй, Мясников! Годы прошли от времени, когда было написано мое последнее письмо к тебе. Помнится, я сообщал тогда, что как-то незаметно умерли все. Я ошибался! Тогда ушли еще не все. Но, боюсь и нынче ошибиться, заявив: вот теперь умерли действительно все. Кто-нибудь нужный когда-то и потом забытый обязательно обнаружится в самом неожиданном месте.

Я тогда простился с тобой до встречи в лучшем из миров — парке безумия. И что же? Безумие день ото дня расширяет свои владения, а мы так и не встретились. Очевидно, еще не время.

И мои последние слова в той переписке: все надо начинать заново... Что я имел в виду, не знаешь? Я забыл, честное слово! Память давно уже подводить стала. В кабинете у доктора я не мог вспомнить номер моего домашнего телефона. Вот кто бы навел на мысль, натолкнул, так нет же! Начинать все заново... Все заново... Что заново? Вообще все!?

Сегодня, кстати, День отца. Поздравляю! Не знаю, как умирают, но ощущение, будто я этим как раз и занимаюсь. У Башунова (раннего) есть строчка: «И кто-то окликнет: Володя! Мне имя при-

снилось твое!»). Божественное живет в строке... Любимый поэт — Володя, любимый друг — Володя, да и сам я — Владимирович... По утрам первое, что встает перед глазами, — мертвый строй. Вчера похоронили Толю Соколова, замечательного поэта из Новосибирска, нашего ровесника. Да ты же его прекрасно знал! Вчера же было какое-то идиотское писательское собрание, на котором я, как тот аксакал, вынужден был заглушить всю шоблу напоминанием о величии, стоящем за нашими спинами, убегающим от нашего несовершенного зрения. Меня потрясла не сила моего убеждения, а старость, проклятый отеческий опыт, когда ты вынужден признать, что ты все еще похотлив, как юный заяц, и немощен, как старый пень. И уже совсем не важно, слышит тебя кто или нет. Что-то не дождался я твоих новых рассказов. Что ж, почитаем из старого.

«Я хотел вам сказать:

— Послушайте...

Но они замотали меня в одеяло, посадили в фанерный ящик и на санках поволокли в детский сад. И в других углах ящика тоже сидели какие-то обмотанные дети.

Я хотел им сказать:

— Послушайте...

Но они напихали мне полный рот манной каши, всучили портфель и букет и отвели в школу. Там мы сидели, целый класс, с полными ртами каши и боялись учительницу.

А она сидела в цветах.

Я хотел им сказать:

— Послушайте...

Но они уже успели проголосовать за мое исключение. Они так много принимали и принимали к себе в комсомол, что никак не могли поверить, что я еще не вступил, и поэтому меня исключить нельзя. А потом меня снова ругали — за то, что я тогда не сознался, и они меня исключили зря.

Я хотел им сказать:

— Послушайте...

Но они уже выложили деньги за все эти георгиевские кресты, которые я делал из бабушкиных мельхиоровых ложек. Ведь у меня никогда не было денег, чтобы купить что-нибудь для коллекции.

И они сказали, что купят еще, если я достану что-нибудь похожее. И как-то так получилось, как будто я их обманул.

Я хотел им сказать:

— Послушайте...

Но они уже обшмонали карманы, отобрали пиджак и штаны и сняли с меня очки.

— Нарушитель, распишитесь здесь.

И я начал расписываться у него на рукаве, потому что без очков я ничего не вижу. Из-за этого меня на следующий день не отпустили, а всех остальных отпустили домой.

Я же знаю, что я ничего не нарушал. Просто они ошиблись. Но если я буду спорить, то они потеряют мой паспорт и отправят меня в бомжатник.

Я хотел им сказать:

— Послушайте...

Но главный ревизор устался на меня своими выпуклыми глазами и начал кричать, что все смелые — когда воруют. А как отвечать, так в кусты. И что здесь и украсть-то нечего, а ведь, надо же, ухитрился, украл.

И все остальные меня тоже разглядывали.

А ведь знают, что я не крал. Что это Семёныч. И директор знает, что Семёныч ворует. Но с Семёнычем он — Вася-Вася.

Так мне обидно стало...

Я хочу им сказать:

— Послушайте...

Но они наклоняются надо мной и по очереди целуют меня в лоб. Чья-то слеза падает мне на щеку.

Кто-то говорит:

— Заколачивай.

И кто-то начинает забивать гвозди.

Но зачем? Я ведь помню, я уже ездил в ящике. Зачем начинать все сначала?»

Это, брат, целая повесть. Или даже роман. Вы, новосибирцы, мастера сочинять самые короткие произведения. Сдается мне, я уже упоминал о самой короткой поэме вашего Ивана Овчинникова. Ох, этот Ваня! Он всю жизнь проработал дворником, про-

пел в русском народном хоре и насочинял стихов от вольного, как на душу легло, а вовсе не как положено. Однажды он, доедая суп, выставленный ему сердобольным литературным мэтром, Ванниным наставником, спросил того:

— А чего вы такие плохие стихи пишете?

— Ну, Ваня, — деликатно отвечивал мэтр, — кто-то пишет лучше, кто хуже, тут, понимаешь, дело вкуса.

Ваня облизнул ложку и посоветовал дружески:

— А вы пойдите на балкон и повесьтесь...

А я все не могу забыть эту абрашинскую истолканную дорожку, этот тракт, этот шлях, пыль которого сделала все заборы вдоль него серо-бархатными. И эту жалкую, каким-то странным образом сведенную в масштаб, не соответствующий окружению, фигурку, где более всего различимы — тоже ведь странно! — того же пыльного цвета волосы и огромные очки. Это ты, Мясников. А я тогда еще и не знал, что это ты.

Да, чуть не забыл. Ты бы поосторожней с такими текстами, накличь.

И еще. Я начал новый счет письмам к тебе. У меня сохранились прежние, и я мог бы продолжить исчисление в прежнем порядке, но... Так много всего случилось за это время, наверно, столько же, сколько не случилось. Все связано в антонимические пары, не так ли?

Письмо второе

Удостоверился: Абрашино стоит на месте. После того, как мы перестали общаться, там появился еще один дачник из твоего окружения — новосибирский поэт, редактор отдела поэзии журнала «Сибирские огни» Слава Михайлов, по документам — Станислав. Ты подумал: вот творческий довесок к вашей компании супротив денежных мешков, наводняющих деревню. Увы, дорогой мой Мясников, вам их не превзойти — ни числом, ни масштабами застройки и освоения. Зато тебе досталась новая голова со стихами и умением сидеть напротив за хлебным вином. Тебя же не смутит, что начальником у Славы — Берязев, твой сосед напротив, главный редактор того самого журнала. И действительно, что тебе от того — твои рассказы Берязев публикует с удовольствием, прав-

да, рассказов от тебя давненько уже не было. А еще он борется с пьянством, со Славиным в особенности. Да и пусть себе борется, до твоего-то ему дела нет.

Данила Меньшиков совсем перестал к тебе заходить, у него своя грусть, свои проблемы. Что-то у них не так с женой Ириной. Вспоминаю наш первый вечер, когда вы наловили рыбы к моему приезду, здоровенных окуней и судаков. И вот сидим мы все за большим столом у Данилы во дворе, чуть в стороне коптится рыба, дымок уходит вверх, указывая на завтрашнюю ясную погоду.

Я замолкаю, прислушиваясь к Ирининому голосу — волшебство! И лучше б вообще не было того вечера, тех дымов и песен, потому что узнаешь о размолвке красивых и талантливых и понимаешь: вот так рушится целый мир.

Год, два тому?.. Приехал я на свой день рождения к Берязеву. Из Новосибирска махнули прямым ходом в Абрашино. Давно появилась у меня такая привычка — убежать в свой день рождения куда подальше. День рождения... Глупейший праздник, особенно в нашем возрасте. Живешь — стало быть, отмечаешь день рождения ежедневно. Красивая Обь, паром, дорога через лес, потом последние в сезоне грибы, баня. И так три дня подряд. Немного водки, много разговоров... Зашел Данила, выпил с нами, ругнул Берязева за то, что у него жилье являет собой редкое чудо домостроения — ни одного прямого угла ни снаружи, ни внутри.

— Башку сносит! — пожаловался он.

Ушел, а мы с Берязевым стали анализировать ситуацию вокруг Данилы. Лет пятнадцать, а то и поболее назад мы точно так же ярились из-за ушедшего интереса к книгам, к нам, писателям, по поводу свалившегося на нас со страшной силой безденежья. Время прошло, мы попривыкли, стали спокойнее относиться к окружающему миру, понимая, что его не исправишь, исправить можно только себя. Много чего пришлось понять, осознать за эти годы. И вот, спустя годы, пришло время художников. Даже таких талантливых и продаваемых, как Данила. Догадываешься, Мясников, куда я клоню? Правильно, умница, тебя же, выходит, дважды убили, поскольку ты есть у нас и писатель и художник. Выветрился покупатель, вымыло его вместе с так называемым средним классом. За чем живопись или оригинальная графика, когда на стену пойдет

классно исполненный постер! Это новая отечественная буржуазия, она никогда не станет двигателем искусства, это вам не морозовы, цветаевы и третьяковы! Все тут предельно ясно, только жаль, что кому-то до сих пор приходится делать новые мрачные открытия в похоронной атмосфере искусства. Кто бы почитал сценарий «Калины красной», которую поставили в театре имени Шукшина в Барнауле по сочинению двух залетных юмористов, сложивших шибко юморные стихи про то, как Егор Прокудин дурака валяет, как убивают Куделиху, его мать, чего у Шукшина отродясь и в помыслах не было! Вольняшки, блин!.. А ты, подумал я тогда, Данила, не печалься! С голоду не помрем, писать не разучимся. Пусть это давно уже никому не надо, но ЭТО надо нам!

А потом мы плыли на пароме обратно и ехали от него уже не так торопливо, поскольку торопиться и опаздывать было некуда. Обратная дорога всегда грустна. Вот и листва за три дня заметно поредела, и похолодало, и небо посуровело... И я стал старше. Или теперь уже так — старше? Этого не хочется никому, и никому этого не избежать.

Вечером в новосибирской квартире Берязева мы добавляли усталость чтением и падали, как настоящие солдаты — лицом на запад. Берязев уснул под стихи Московского поэта Али Кудряшовой, которые я читал ему вслух, а я — под книгу стихотворений самого Берязева.

После бала... У тетки твоего Коли Шипилова так называлась песня. Обычная история: вслед за праздником ощущение потери. Многие, боясь этого, избегают праздников вообще. Что ж, наверно, можно избегать любви, чтобы не испытывать потом разочарований. А тут — всего лишь после дня рождения...

Я возвращаюсь в Барнаул. Берязев посадил меня на автобус, как это уже бывало не единожды, в самую последнюю минуту. Мы старыми становимся, для нас последняя минута — это тоже бесценное время. Еду и почему-то распирает от нетерпения скорее убедиться, что автобус движется по трассе М-52, которая потом переходит в Чуйский тракт, любимую мою дорогу. Да и Берязева, думаю, тоже. Ну, где же, где же тот столб, та растяжка, где обозначен титул трассы? Кто бы знал, почему мне это так важно именно сейчас, в эти первые минуты отъезда из сибирской сто-

лицы? Ведь знаю же, все равно автобус рано или поздно вырулит на эту самую трассу...

Нетерпенье гонит,
Несмиренье жжет...

Ах, Башунов, Башунов! Это он мне написал, про меня... А я каждый день восклицаю, страдая от отсутствия его: «Володя! Мне имя приснилось твое!..»

И все мы с той стороны, — кто ближе, кто дальше, — со стороны Чуйского тракта. И только Берязев — с этой, со стороны Новосибирска, но душа его полутюркская все время стремится туда, в нашу сторону и дальше, к Алтайским горам, монгольским степям и пескам Гоби...

А вот и синий квадратик на столбе — М-52, Бердск, Барнаул. Потом уже на более крупных постерах будут обозначены Бийск, Ташанта — конечный пункт тракта, но первый — этот... Все, душа моя утихомирилась, будто бы сразу, через восемь сотен верст я попал на границу с Монголией. Вот еще чуть-чуть — и дальше наш автобус покатит по бескрайним монгольским степям. Никогда не понять самого себя, что может с такой силой тянуть равнинного русского человека в эти суровые безлюдные края, где глазу не за что зацепиться!

Я так и не отгадал своего нетерпения. Город Барнаул, куда я направляюсь, мой родной город, там прошла вся моя жизнь от края и до края, там остались одни разочарования. Там закончилась любовь... Да что это я в самом-то деле! Всего лишь настроение, брат, любовь закончиться не может!

А вот совсем забыл! С этого и надо было начать новую переписку с тобой после столь долгого перерыва. Все дело в том, что донеслось до меня от тех самых людей, которые слухи распускают, будто ты в здравом уме, и никакого сумасшествия с тобой не случилось. Я подозревал это, однако поверил тогда и писать тебе перестал. Что толку писать сумасшедшему?

Письмо третье

Мясников, мы уже выяснили, что большой разницы в погоде между твоим Абрашино и моим Барнаулом нет. Хотя ты и находишься севернее на сто пятьдесят верст. Сто пятьдесят — это не в счет, стало быть, у вас там такие же дожди и туманы. Твой огород зара-

стает травой, а вот в лесу пусто — ни грибов, ни ягод. Право слово, странное лето. Из наших планов не вырастает ничего заметного, но я все оглядываюсь по сторонам — а вдруг! Собирался приехать из Питера мой друг художник Георгий, я тебе, помнится, рассказывал о нем. Как и о том, что мне всю жизнь не дает покоя наш непостроенный дом на берегу крохотного озера, в скалах. Я ненавижу этот дом, которого нет и никогда уже не будет, я ненавижу мысли о нем, потому что они напоминают мне о несбыточности самого важного. Может, мы и не догадываемся, что же такое не сбылось, но мы подспудно знаем: это и есть главное в нашей жизни, и потому никак не научимся по-настоящему любить себя. Как же любить — без главного! И я проживаю в этом нашем доме свою придуманную жизнь, я беседую по вечерам с Георгием, вернувшимся с этюдов. А он молча протягивает мне листок, очередное письмо. Он не умеет говорить, он пишет. Да, вот представь себе, Коля, письмо в письме. «...Мне тоже не дает покоя мысль о домике на Моховом озере. В пустых хлопотах, в житейской суете не исполнил заветного. Поезд ушел, я остался на полустанке удивленным, со своими болячками, когда не то что строить, себя с трудом перетаскиваю. Как-то быстро и незаметно утек песок из моих часов... Привез из города папку с рисунками Кольвани, Коргона, есть хороший дворик Шишовых. Этюды, кроки... Надо собраться, сосредоточиться и начать делать этапные вещи. Перечитываю «Войну и мир», да, это не Мураками... Взрослые ушли по делам, дети дома расшалились. На девятое мая собрал у себя старых товарищей — Ивана Корнеева, Игоря Нахимова, давно хотел тебя с ними познакомить. Замечательно посидели, вспомнили отца, выложил его боевые награды — орден Красной Звезды, медали «За взятие Кенигсберга, «За оборону Ленинграда»... Детям хотел отдать — не надо. А тут впереди третья операция, и ты знаешь, изматывающая боль призывает к каким-то новым откровениям, даже к нежности. Когда мне особенно хреново, вспоминаю, как мы возвращались с рыбалки, и слова летели впереди тебя. Слов самих не помню, но они, будто крылья, несли нас, и дорога в гору казалась спуском... Жизнь продолжается. Дети живут в своем измерении, мы — отдельно. Где-то грань между существовавшим и существующим. Пиши мне на адрес: СПб, Васильевский остров... Клепиковой Ирине».

Ты, Мясников, конечно же, понял, что письмо я достал из почтового ящика, за тысячи верст от Питера и за сотни — от Колывани. А в конце следующих писем было: пиши мне на адрес: СПб, Петроградская сторона... Пичугиной Валентине, потом: Выборгская... Елене...

Любил он всю жизнь одну женщину, и звали ее Ольга.

Зачем я тебе все это пишу? Кто бы знал, зачем я вообще пишу тебе. Тем более, что ни одного письма от тебя я не получал и не ждал. А все тот же домик! Твоя покосившаяся изба с вросшими в землю окнами далека от нашей мечты о жилище на берегу горного озера, и все-таки... Обошел ты меня здесь. Твое абрашинское имение — это единственное жилье, на которое никто, — ни дети, ни жены, — не смогут претендовать. Твой побег удался. А мне все это предстоит, только нет избенки, нет Абрашино, денег нет!

Странное лето — из пустот и восторгов. Разглядывая горы, можно увидеть силуэты всадников, фигуры людей и зверей. И в облаках можно увидеть то же самое. Облака лежат на горах, горы подпирают облака. Там не изображения людей, там люди, потерявшие интерес друг к другу.

Седьмое число седьмого месяца седьмого года. Один день. Катунь, горы, облака. Лето. Уходящая натура. Ясные вещи приобретают в изложении людей запутанную суть. По-моему, Рене Декарт сказал однажды: «Определите точное значение слов — и вы избавите человечество от половины его заблуждений».

Я в замешательстве: написать правду, из которой следует, что наш непостроенный домик со всей прилегающей таежной территорией попал в неприкасаемую экскурсионную зону, или насочинять, построить все-таки жилище и поместить туда того же художника Алексева, тебя, Мясников, и всяких разных героев моих повестей? Живых соединить с придуманными. И пускай себе поговорят. Что выбираешь, а, Коля-Николай? Имей в виду, в отличие от вас, мои герои не умеют мне ответить. Да и не мои они, кто сказал?

Письмо четвертое

Отходит пора огурцов, подходит пора томатов. Всякие кабачки, перцы, патиссоны второстепенны по сравнению с помидорами и огурцами, эти главные в ряду заготовок на зиму. Вижу, как ты

шаришь по сенцам в поисках трехлитровых банок для засолки. И вдруг в дальнем углу с ужасом обнаруживаешь целую полку с прошлогодними соленьями. И тобой овладевает вечное сомнение домовитых хозяек: оставить — выбросить? Выбрасывай, Коля, без сожаления, иначе эти остатки перейдут в разряд праостатков и сделаются еще одним символом нашего старения, нашей, если хочешь, залежалости. Как старые вещи в пыльном шкафу, давно забывшие запах тела.

А я ведь тоже делаю заготовки на зиму, ты, наверно, и предположить этого не мог. Делюсь опытом, недавно научила одна милая дама. Всем надоели консервированные овощи, которые по сути есть овощной компот, и люди с умилением вспоминают огурчики-помидорчики бочкового посола. Накладываешь в банку помидоры, хрен, чеснок, перец, соль, немного сахара и заливаешь обыкновенной водой. Под капроновую крышку — и в погреб! Никакого кипячения, никакой стерилизации, и вкус бочковых помидорчиков гарантирован!

Да, совсем забыл, я ведь еще не писал тебе, что служу на новом месте. Редактирую исходящие документы. Я в них ни черта не понимаю, и это забавляет. Мой хозяин хамло, мешок с деньгами, до прихода нового русского капитализма был капитаном дорожно-постовой службы, гаишник по-простому. Думаю, первоначальный капитал он сколотил на дороге, обирая несчастных водителей. Теперь он сволочь в более крупном масштабе, зато дружит с попами. Это же куда проще — завести дружбу со священниками, чем по-христиански относиться к ближним своим. Связь со слугами господними освобождает от чувства вины.

Собственность. Новое мерило жизни. Станным образом люди думают о продолжении себя: огородить побольше земли, подготовить наследство... За непомерными хлопотами сами дети во дни, когда особенно необходимо родительское внимание, остаются забытыми этими самыми родителями. И наследство, прирастая, оскудевает, теряет цену, сводится к деревяшкам, квадратным метрам, деньгам. И забывается напрочь: человек может обладать куда большим.

Иногда страх выпасть из окна сродни восторгу предстоящего полета. А может, это свойство восторга, быть замешанным на страхе?

А ты кричишь через три забора такому же пьяному соседу, который даже оглушенный водкой не решился рубить голову петуху. Экие нежности для деревенского мужика! Охота — другое дело...

— Ты что ж, гад, застрелил петуха у курей на виду? Теперь они разбегутся кто куда.

После Абрашино хочется расслабиться и в то же время взяться за работу. Наверно, расслабляться и работать — неразделимые составляющие творчества.

Старый товарищ зовет в Великий Новгород. Как-то сдуру написал ему, что мечтаю побывать там. Зачем? Фата-моргана! Потому что не окунался в ту жизнь, потому что здешняя опостылела. Жду перемен, именно жду, а не ожидаю. На мой взгляд, разница есть. И не могу ответить, зачем они мне, эти перемены? Мне же хорошо, по-настоящему хорошо, только я этого не подозреваю в силу постоянного человеческого неудовольствия. Если смотреть вдоль русла Лосихи (лучше всего зайти в воду на середину речки), появляется некая мысль о течении тебя самого в этом нешироком водном пространстве. Представить, как ты будешь течь посредине Оби, невозможно, там не встанешь.

Перед сном читать тебя, Мясников не стоит, читаю, чтобы не уснуть.

«Если уж думать о государственном устройстве, то хорошо бы сначала отделить все от всего, чтобы потом долго и с любовью присоединять. И что-нибудь обязательно поменять местами. Обязательно отменить что-нибудь самое привычное — для воспитания чувства новизны...»

Плохо, что я забросил государственные дела.

УКАЗ!

Об отделении совести от государства.

Руководствуясь заботой о государственном строительстве и исторически сложившимися традициями, постановляю:

Отделить совесть от государства...»

По поводу тобой, Мясников, написанного, а мной прочитанного могу ко всеобщему удивлению свидетельствовать лишь одно: сие сотворено в трезвом состоянии.

Кланяюсь и преклоняюсь, ты неповторим!

Письмо пятое

Утро. Я иду по проезжей части Абрашино, идти больше негде, поскольку вся улица за исключением зарослей крапивы у заборов — это и есть проезжая часть. Год от года все больше народу наезжает сюда отдыхать, все больше машин, поднимающих отвратительную желтую пыль. Все больше лесовозов, что, возможно, говорит о некоем подъеме экономики в нашей стране вечного эксперимента. А тут еще дорогу где-то в районе Хмелевки ремонтируют, здоровенные грузовики со щебенкой, добавляющие пыли на твою усадьбу и домишко, стоящий край дороги. Так говорила моя бабушка — край дороги. Неправильно? А мне нравится. Утро совсем раннее, потому машин еще нет, и я спокойно бреду к маленькому дощатому пирсу, хочу посидеть с удочкой. Знаю, ты давно забросил эти глупости и ловишь рыбу сетями, но мне рыба не нужна. В прошлом году я ходил на этот пирс с твоим соседом Берязевым, и он утопил телефон, пытаюсь помочь мне вытянуть здоровенного окуня.

Ты опять не будешь знать, что я в Абрашино. А кто бы сказал? Ты сидишь в своей усадьбе безвылазно, занимаясь огородом и заготовками. И что тебе за дело до происходящего за воротами! А для полноты комфорта у тебя есть мысль, которая не отступит ни на минуту, которая согревает и заставляет жить. Мысль эта о романе, ты его напишешь, вот только закончится огород и придут холода...

Сердце скучает по тем местам, где ты еще не был. А память кружит возле дат, помечая каждый день чем-то знаковым. И не важно, можешь ли ты сразу вспомнить — чем?

Ты же знаешь, у меня своя деревня, она в трехстах километрах от Абрашино. Осенний отсчет начался, хотя большая поляна за деревней все еще зелена. Еще гремит хор кузнечиков, но утренние росы уже пахнут морозом, и небо уже голубое не настолько. Ах, моя мелкая речка! Она бежит по-прежнему в задумчивости, и в думах ее нет места мне, мгновенному пришельцу в этот мир. Моя спящая поляна! Она спит в тревожном ожидании пришествия человека. Она точно знает, что через десять лет он придет сюда и построит большой коттеджный поселок, и будет здесь все как в городе.

Вот интересно, как ты пришел к мысли, что людей наблюдать совсем не интересно. Люди сложены, составлены, смонтированы, слеплены из матриц, и набор этих матриц невелик. Они укладываются в легко запоминаемый каталог. В мозгу выстраивается некий стеллажик с полочками, где расставлены типажи. Можно их пронумеровать, можно присвоить условные обозначения.

Извилистая речка, горбатый мостик, по нему бредут печальные коровы, а под ним рыскают собаки, похожие на шакалов. По воде разносится густой мат — девушки купаются. В матюги вплелось лениво-бесстрастное:

— Мама, она же плавать не умеет...

Нынешний суп окружающей жизни остер, замешан на несочетаемых продуктах и оттого, очевидно, невкусен.

Ты даешь себе слово начать работать немедленно, не дожидаясь смены сезона, распушенность перешла уже все пределы. Но как трудно двинуться с места! Удивительная инерция у состояния покоя, сильнее не бывает.

Прошло по улице печально поредевшее стадо. Можно считать, сколько дачников заменило местных жителей, сколько коттеджей вместо изб, джипов вместо повозок... Можно спрятать руку за спину, ибо на одной хватит пальцев сосчитать: одна корова, две, три...

За Сузуном на большом поле убирают хлеб. Шеренгой идут комбайны, снуют между ними машины, краем поля тянет воз соломы мощный К-700. Сердце заходится от радости: хлеб убирают, весело! Вот так и налаживается жизнь! Запомни эту картину, Мясников, пусть она встает перед тобой в минуты уныния. Поживем еще до итогов, поживем...

Умираю от зависти, Слободчиков едет в Абрашино! Будет ходить по берегу моей реки, собирать мои опята, увидит мою лису и мое мраморное озеро. Будет париться в моей бане, топить мою печь, спать в моей постели, часами молчать, глядя в непрозрачные линзы моего Мясникова... Что с того, если было это все моим лишь миг, никем не узаконено, не затверждено! Все на Земле наше на миг, не более. И вот в этот самый миг кто-то там есть, а меня нет.

Меня нет сегодня в моей деревне, где нынче снесут старый дом. Без меня. Куча мусора, вот и вся память.

Осень невероятно жестока. Морозы по утрам добивают зелень, делают землю какой-то злобно-ощетинившейся. Знаю, она потом, в ожидании снега, подобрееет, притихнет... Рано быть холодам. Сердце болит, ему тоже не хочется мерзнуть, не хочется биться под множеством покровов. И надо как-то выскользнуть из лап осени, доказать всем, что ты здоров, удачлив и весел Кто-то строит для этого большие дома, кто-то маленькие, кого на сколько хватит. Но забота общая — чтобы было в доме тепло.

Сегодня четверг, и ощущение, будто пятницы уже не будет, вообще не будет, совсем. Четверг продлится до бесконечности, вот и все. И можно будет сказать: конец света наступил в четверг. Ни года, ни числа. А то и так: бесконечность света наступила в четверг...

Ты, Мясников, не пускаешь людей в свой мир, даже в мир вообще. Нечего делать, они, на твой взгляд, слишком много уже в нем напганили. Это не мизантропия, это самозащита такая, беспомощность перед лютым человечеством, перед беспощадной человечностью, перед всепожирающей любовью, перед повсеместной и непобедимой зоологией. Пускай среди некошеной травы женский хор исполняет Моцарта, пускай Вольфганг Амадей выйдет и поклонится лету, лесу, бывшему огороду. Но больше людей не надо. Вот оно, все допустимое человечество — хор, исполняющий реквием. Реквием по всем остальным, по всем, кто не верит в судьбу, а верит лишь в случай...

Письмо шестое

Что-то происходит, какие-то движения в маленьком замкнутом пространстве, в которое волей случая вписан я. И все — взамен чего-то важного, книг, листочка бумаги, прочих милых и нужных вещей. «Я могу дышать даже в валенке», есть такой рассказ у Володи Карпова. А я вот не могу дышать даже в таком пространстве как город Барнаул. Тебе, Мясников, не хватает воздуха на всей Западно-Сибирской низменности. Знаю наперед твою шуточку: оттого что она низменная. Тесно, душно... Хочу написать придуманную от слова до слова историю, которая окажется настоящей жизнью, в которой все будет фантастичней придуманного, в которой моя униженная, вечно унижаемая страна встанет гордой

и счастливой. Ощущение, будто правда запрятана глубоко и никак не хочет выбраться на поверхность. Продолжаю жить в своем романе, который закончил уже год назад. Мне было в нем удобно, комфортно, потому и выбираться наружу не хочется. Мысленно продлеваю каждую главу, жалея, что ничего похожего уже не напишу. Да и надо ли?

Не вернуть милого безделья, добродушного прозябания, святого созерцания мира.

Уже нет слез по ней, обрекшей меня на одиночество, осталось необъяснимое щемящее чувство. Семена бархатцев, посаженных ею под моим окном, прорастают до сих пор.

А ты пишешь.

«Мне с детства здесь все запрещают, и все для меня здесь чужое. У меня чужая жена, у нее чужие дети. У меня чужие родители. У них тоже чужие дети.

В чужой реке плавает чужая рыба, и если я ее поймаю, меня остановит рыбнадзор. В чужих квартирах чужие книги в совершенно чужих шкафах. У меня из-под ног уплывает очень большая планета, и она никогда ко мне не вернется.

Может быть, поэтому мне хочется быть самым маленьким, маленьким, маленьким, и еще меньше, чтобы жить в теплых водах вашего живота и спать, спать, спать, спать...»

Я не пытаюсь найти ключик, чтобы дать определение строчкам, страничкам и книжкам, написанным Николаем Мясниковым, тобой, Коля. Да и есть ли точное определение всей жизни художника, писателя, философа, мечтателя, вдохновенного любителя любить, если все это сошлось в одном человеке?

С наступлением холодов люди в общественном транспорте стервенеют. Это наблюдение моей начальницы. Что-то не замечал, чтобы с наступлением тепла они делались добрее. Люди стервенеют не от холода, а оттого что не могут защитить себя, не могут погрузиться в тепло на все то время, пока за окном поливают дожди, трещат морозы.

Когда я был рыбой, — а был я, скорее всего, чем-то средним между чебаком и лещем, — я не знал, что на суше есть свои прелести, отличные от водных и даже несколько не хуже. Когда я был деревом, я уже знал, как существовать на земле, под землей и над зем-

лей. Дерево — та же трава, только та меньше, мягче. Все знают или предполагают, сколько отпущено жизни тому или другому дереву. Про траву неизвестно. Растет год от года, перевивает, перепутывает свои собственные корни... А сколько ей отпущено жить на этом самом месте? Может, плотность корней на единице площади однажды станет критической, и трава задавит сама себя... Когда я был птицей, я уже знал и воду, и небо, и землю, и лес. Я видел больше и дальше, я чувствовал себя великим, взлетая в зенит, и однажды мне стало жалко этот мир, так широко и беспомощно открытый мне, конечный, наклоненный к горизонту. И я перестал летать в надежде, что моя следующая среда обитания станет сильнее и загадочнее. И я стану жить в бесконечном и таинственном мире... Когда я был камнем, я отделился от горной системы, которая ушла вслед за движущимися людьми. Я уходил под землю, когда взволнованные воды тащили за собой все, что попадалось на их пути. Я выбирался на поверхность, выталкиваемый неведомыми подземными силами... Во мне жили задолго до того времени, куда в состоянии была заглянуть моя память, следы животных, птиц, трав и прочих растений, воды и неба. В конце концов я стал землей, которой придумано множество названий и характеристик — почва, гумус, чернозем, подзол, каштановые бурые, лесные... Во мне вода, корни, камни, звери, птицы, люди, и только небо надо мной.

Все позади. Рыбалка, больше похожая на обыкновенную пьянку. Случилось неизбежное. Отметим. Дача стоит заброшенная, огород не выкопан. И вдохновение последних дней минувшей недели улетучилось. Его, наверно, нельзя отпускать ни на минуту. С другой стороны, не привяжешь его на цепь, никому не удавалось.

Сижу в медицинском центре. Болеть не хочется. Пьянство — мальчишество... Мой питерский друг потерял силу, вот чего тебе, Коля, позволить нельзя. Когда ты слаб, с тобой готовы разделаться все — петух, мышка и заносчивый сосед. Сильных не трогают, их убивают, но не дергают по мелочам. Не жалуйся. Разве что на здоровье — но это к доктору.

Меня напихали таблетками и начинили уколами, потому я воспринимаю мир сквозь вату. Она говорит, что со мной плохо. Мне

со всеми вами тоже не здорово. Найти бы женщину без особых притязаний, но знаю, что, случись такое, найдется куча других недостатков.

А жизнь идет своим чередом. С утра варю варенье. Вишневое! Сказка! Чем-то далеким пахнуло, еще до моего рождения. Запахи, замешанные на истории, тоже история. История рода, который жил в местах, где цвела и вызревала вишня. В Сибири она появилась не так давно и какая-то не совсем настоящая. Времена и дали — вот все, чем мы живем и дышим. Но ты знаешь ли, Мясников, что это такое — снимать пенку с вишневого варенья!? Дом сразу же наполняется призраками, и они бродят по комнатам, разглядывая себя на фотографиях.

Как-то ты сказал: не стоит рвать сердце нелюбовью к себе... Завтра будет солнце. Завтра будет один из тех редких дней, когда золото Горного Алтая засверкает удивительными переливами, когда вода в Катунь станет бирюзовой. Завтра надо быть на Катунь. Надо быть завтра на Катунь. На Катунь надо быть завтра. Держит дом и морковка, а зовет Катунь. Дело в том, что необходим человек, с которым надо эту радость, этот восторг разделить. В голове у тебя одна Светка, которая сама про себя не знает, гуляющая она, полудевушка-полупарень или еще кто. Невнятное растение. Впрочем, она многое поняла бы там, на Катунь... А в Абрашино ты ее не пускай.

Письмо седьмое

Оставшиеся желтизна и зелень говорят: пока все еще живо. Но скоро ранние морозы постараются и убьют все краски, оставив одну серую. И придет мысль: все было напрасно. Какое слово — безысходное, отчаянно-безнадежное — напрасно. Русские слова очень часто из чего-то сложены, а это из чего? Вижу твой пристальный взгляд из-под очков, слышу предостережение: вот отсюда-то тебе и надо бежать без оглядки! Черти! Крови, силы, души твоей хотят!

А я продолжаю книгу отречений. Помнишь, мы затеяли ее еще в прошлом столетии! Наверно, только родное, кровное нельзя отринуть, его можно загнать в глубины памяти, отказаться от него на миру, но ты повязан родством помимо чьей бы то ни было

воли. На сей союз воля божья. Родня не знается, не роднится — что с того! Это происходит на малом земном пространстве, которое ничто для душ, их разговоров или молчания. И кто знает, где и когда они заговорят, освященные одной кровью... А друзья, соратники, единомышленники... Перетащить «мышкой» к корзине с мусором и нажать указатель «переместить». Все, нету! Замечательный мой художник из Питера! Я отрекаюсь от тебя, от твоих призывов думать о вечном, от твоих жалоб на детей и болячки, от твоего упоения красотой природы, от твоих сетований на бездушие собратьев. Я отрекаюсь от нашего замечательного прошлого, когда мы восходили на гору Синюху и ничего, кроме омерзения от снятых с себя нескольких сотен клещей, потом не могли вспомнить. Да, был момент величия, когда у твоих ног расстилался мир в голубой дымке, но потом были мерзкие насекомые, жара и раздражение. Я отрекаюсь от нашего прошлого, когда мы безвылазно торчали на камнерезном заводе, очарованные красотой камня. Камень надоел, отполированные образцы розданы кому попало, камнерезы разбежались или спились. Кто умер, кто разочарован. От того прошлого осталась пыль невнятных воспоминаний, а у камнерезов пыль в виде силикоза, неизлечимой болезни легких. Я отрекаюсь от Всеволожской, где святая грусть со временем покрылась серой дождливой печалью, а потом превратилась в обыкновенную скуку. Я отрекаюсь от юношеских честолюбивых замыслов, поскольку из них не вышел даже домик на берегу лесного озера. В Питере несколько листов ватмана, в Барнауле несколько исписанных страниц — все...

Да что тебе, Мясников, до всего этого, отреченному и отрешемуся давным-давно!

Река стала ленивой, ей лениво течь, лениво наполняться водой, по-моему, даже просто быть рекой — лениво. Она, как Мясников посреди пустого огорода, когда уже даже ботва снесена в дальние кучи. На память приходят разные люди, и чем больше гонишь их от себя, тем настойчивее лезут они в голову. А что от тех людей? Оболочки одни, но что-то же им надо от меня на склоне лет. Уйдите! — кричу им. Вы несете с собой всего лишь прах несбывшихся надежд и желаний, которые со временем становятся орудием самоубийства. Вы ничего, кроме страха, боли, пустоты и запа-

ха тлена не можете оставить после себя! Нет никакого прошлого, придумано множество обманок, чтобы отрицать это «НЕТ» — фотографии, письма, живописные наброски, комоды, столы и табуретки, дети наконец... Это прошлое только с точки зрения лингвистики. Да, было, строгали, делали, любили, но смерть шла за всем этим по пятам, и все тут же превращалось в нечто сокрытое густым туманом. В немецком языке есть глагольная форма — давно прошедшее время, вот здесь что-то близкое к истине. Я сегодня побрился — и это уже plusquamperfekt.

Ты не поверишь, но вот открываю старые записи, читаю. «Сижу в деревне, впервые за три года что-то пишу. Письма к Мясникову. Ха — ха! Однажды я так и назову книгу — «Письма к Мясникову»».

Светаёт. Сейчас пойду ломать старый сарай, добавлю еще одну кучу мусора и обрету новую задачу: куда его девать? Это жизнь — сотворить мусор.

Осень торопится убийственными темпами, и в холода мы останемся одни. На самом деле это не страшно. Мне давно не пишет Саша Плетнев из Омска. Не думаю, что обиделся, скорее всего, он тоже понял, что в старости общение тягостно. Тут — ложь, тут — катурны, тут — костылек, тут — просьбы о жалости... Не надо! Гордое животное кошка уходит умирать в укромное место.

Был некто Филиппов, делал умное лицо и просвечивал меня взглядом-рентгеном. Говорил что-то о космическом потоке, в который необходимо влиться. Или хотя бы идти (плыть, направляться) с ним попутно. Иначе — болезни. Кто-то, по его словам, к нам все время приходит, некий дух, сознательное пространство, заполняющее вакуум, появившийся в результате разлома космического потока, возникшего по вине человека... Зачем приходил — я так и не понял. Денег я не предложил, у самого нет. А диагноз поставит доктор.

Письмо восьмое

Связка ключей на столе. Ты разглядываешь ее, думая, что ключей становится все меньше. Но большой костер, на котором должно сгореть все лишнее, пока не вспылал. Странное ощущение жизни, не правда ли? Полноты ее хватает, чтобы не замечать течение времени. Пустоты в ней достаточно для напрасно проведен-

ных дней. Впрочем, Мясников, мне порой дня не хватает, чтобы выкроить время для разговоров с тобой. А иногда думаю: мы так далеки друг от друга, так разорваны временем, что ты уже истаял, как сущность, и я разговариваю сам с собой, пишу сам себе...

Но вижу твою походку завязанного огородника, она у вас, любителей посадок, особенная. Может, от этой специальной обуви, называемой галошами. А я вот мечтаю купить себе спортивные тапочки и лыжи, чтобы заниматься здоровьем. До мечты двести метров, там спортивный магазин.

Осень за окном, а я хочу побывать в Абрашино еще до зимы, до наступления мертвого сезона. Надо, надо, надо! Я устал от зависти к тебе...

Тени прошлого преследуют тебя. Людочка... Светлый человек. И чистый. Изломанный жизнью до самой последней крайности, а чистый. Она, умирая, искала тебя, звала из последних сил, придумывала поводы, чтобы увидеть тебя, заставить придти к ней, сходящей с ума, умирающей от опухоли в мозгу. И все звонила, звонила...

— Надо обязательно увидиться, я должна отдать тебе фотографию.

Ты так и не отозвался. И не узнал, что там, на этой фотографии. Презираемые тобой ее подруги стояли у гроба, а тебя рядом не было. Конечно, у всех гробов не настоишься...

Ты и я. Мы никогда не были мягкими, никогда не были нежными, что поделаешь... Вот и томимся до сих пор воспоминаниями о матери. Каждый о своей. И не уходят от взгляда палисадник перед нашим подъездом, диковинные цветы на подоконниках. К матери постоянно ходили за рассадой, семенами, и все потом разводили руками: не растут!

Отвлечусь. Сегодня сыну исполнилось восемнадцать. Беседую с ним в его отсутствие. Даже и не знаю, как, сын мой, теперь с тобой разговаривать, как вести себя. Я ничего про тебя не знаю. Далекый Мясников, с которым я и дня толком вместе не побыл, мне ближе. И почему так уродливо все устроено? Я люблю легкие пути, кто их не любит? Вот и получается, дружить с собственным сыном — это страшно трудно. Ты хороший, нежный человек, тебе свойственны некие глубокие чувства, которые мог-

ла читать, угадывать твоя мать. Я не могу. Я ленив. Я не умею и не хочу делать из тебя кого-то. Не знаю, что тебе сказать в твой день рождения. Так, откуплюсь мелочами. Но ты знай, я люблю тебя, меня прошибает холодный пот от мысли, что с тобой может что-то случиться. Я горло за тебя порву... Но я не умею сказать, я по-прежнему, как юноша, боюсь нежности. Видишь ли, профессия жить и быть отцом труднее профессии писателя, да и любой другой. Я люблю тебя до дрожи, но ты ведь можешь и не знать этого. Я скажу об этом сегодня за столом, пусть меня не поймут и осудят мою горячность, мне нет до того дела. Вот. Сегодня я, наконец, знаю, что сказать. Для меня этот день велик. Пускай для сына он будет обычным, важно, чтобы он понял: для меня — велик!

...Все меньше понимаю, за что же себя можно уважать? И стоит ли вообще заниматься этим? Жизнь вокруг строится на глупости, это иногда попросту завораживает: смотришь — глазам не веришь. Если меня и можно сломать — только из-за детей. Но опять же, зачем я им поломанный?

Состояние живого трупа. Интересно, труп может ощущать себя живым? День рождения сына позади. В норку хочу, к слепому и чуткому кроту.

Я придумаю историю, которую будет проживать мой замечательный друг из Питера Георгий Алексеев. Кстати, я сегодня умудрился назвать его Леонидом. Так зовут его отца и младшего сына. Он посредине, между двух Леонидов...

Мир держит паузу между осенью и зимой. Прохладно, солнечно, сухо. Бестолковое, любимое из-за этой своей бестолковости лето прошло, и уже забылись насмешки по поводу предстоящих кальсон и теплых фуфаяк. Теперь осень подсмеивается: вам, дуракам, лета не хватило ни на отдых, ни на работу. Вкалывайте сейчас, не замечая последних улыбок леса и грустной ухмылки реки.

Вот возьму и вместо писем к тебе начну писать в дневник, заведу этакую амбарную книгу, где буду отмечать, что и когда выброшено. Сегодня еще ничего не выбросил, но вот приеду на дачу — обязательно что-нибудь выброшу. И разведу костер якобы для мусора, на самом же деле брошу в него что-то нужное, из мебели к примеру.

И правая десница не ведает, что творит левая... Решил поставить пластиковые окна — это для тепла, это простительно. Надумал пристроить веранду — для удобства. Накрутил какой-то салат из свеклы — для еды. Повторяю тебя, Мясников, во всех подробностях, в том числе, в заготовках припасов на зиму. Стало быть, в амбарной книге необходимо завести страницу приобретений. Это будет черная, позорная страница.

Ах, Боже мой! Имея счастье жить, надо умудриться с таким неистовством портить себе жизнь!

Письмо девятое

Бывшая жена затащила-таки тебя в больницу. Подозреваю, она выждала момент, когда ты уверовал, будто вся огородная растительность переработана, упакована, рассортирована и разложена. Иначе тебя не отодрать от крыльца. Капуста не посолена, но до настоящих морозов еще далеко, стало быть, рано. Вот лежишь и думаешь о капусте: на каком рецепте засолки остановиться?

Сейчас в палату придет удивительно красивая женщина, врач-невропатолог, будет задавать вопросы.

— У вас голова не чужая?

Замечательно! Тебе, точно, досталась не твоя голова.

Сюжеты истаяли.

Герой все больше напоминает покачивающийся на легком ветерке клочок тумана.

Мы так давно не виделись! Мы так мало виделись!

Ты спрятался в своем Абрашино, чтобы ничего не видеть и не слышать. И никого. Ты забыл дни рождения детей. Ты забыл, что живешь в стране, где национальные герои — сочинители и исполнители блатных песен. Где налог с богатых и с нищих исчисляется в равных долях. Где ликвидировали рабочие места и хотели ввести налог на безработицу.

Ты, конечно, убежден, что родину можно любить вдали от всего этого, точнее — в стороне. Впрочем, ты давно уже изобрел модель благополучия в отдельно взятом поселении. Вот она.

«Каждой крестьянской семье — набор чучел домашних животных. Если их расставить во всех дворах, деревня станет выглядеть очень уютно.

На сельских дорогах, под деревьями, установить чучела косуль, лосей и медведей.

В небе — чучела лебедей и жаворонков.

Единственное, что для этого потребуется, это немного технической изобретательности. А в результате — ощущение изобилия и удивительная красота.

Следует также завести вечерние костры для молодежи.

Детям младшего возраста выдавать специальные противопожарные спички.

Для пожилых — народные песни под бубен.

Для людей среднего возраста — выставки красивых картин, с чаепитием и обсуждением.

К чаю подавать лимоны и мармелад».

За окном прощальная улыбка уходящей осени — тепло и солнечно. А в твоей чужой голове проекты переустройства двора и домика. Но ты же знаешь, никогда это переустройство не случится. Или это знаю только я? Что до меня — я собираю рыжую боярку, деревенские совсем не оставили красной. Доктора говорят, что именно красная помогает от сердца. Они слушают докторов? Однако чем больше им говорят о вреде пьянства, тем круче они хлещут самогонку и стеклоочиститель. Моя просвещенная теща сообщила, что рыжая боярка нынче реабилитирована и теперь считается полезной наравне с красной. Но тут деревенских не свернешь, только красную будут признавать... Собираю. Буду заваривать с шиповником и лечить сердце, в котором не то шумы, не то тоны какие-то не такие. Люди умирают и моложе меня, сколько угодно, дело у них такое — родиться, пожить и умереть.

Тебе уже сказали, что надо ко всему относиться спокойно? Ты внемли, ибо только так можно изменить мир, который вовсе не собирается меняться благодаря твоим усилиям. Для поддержания в себе спокойствия нужен характер, а ты не хочешь жить характером. Ты как-то высказал удивление: от бесхарактерных куда меньше вреда, так почему же так поощряется характер? Опять — энергия переустройства и вечная человеческая спесь!

Ветка земляники, огруженная переспелыми ягодами, друза опят на замшелом пне, зазевавшийся тетерев шугается из-под ног...

Сон золотой! 19 октября. Пушкинские дни, пушкинская осень, где-то пушкинское вдохновенье?

А я опять вижу своего питерского друга в его Всеволожской. Та же осень, та же сырость, и если я заявлюсь туда сейчас, будет все то же. Мы были другие, мы были молодые, мы принимали перелет из Новосибирска в Питер дорогой в иномир. И дождь, и слякоть, и тоска были совсем другими... Наверняка в эту самую минуту он что-нибудь рисует, время, изувечившее его, соединило голову и руку как-то по-другому. Ну, почему художники такие скучные люди! Его жена другая, но она, очень может быть, и не художник. Наверно, есть какое-то название людям, которые прекрасно рисуют, но не художники, пишут хорошие стихи, но не поэты, сочиняют замечательную музыку, но не композиторы...

Ты посматриваешь на новую тетрадь, думая, чем же ее заполнить? С чего начать? Можно для начала написать о той, кто подарила эту тетрадь, но для этого надо перестать ее любить. Смешнее, нелепее не придумать — перестать любить! Попробовал бы кто вот так, по команде... А чернила будто призваны убивать самое лучшее, настоящее, потому о любимых невозможно написать. Все любовные романы о бывших любовях.

Да не любил ты, Коля, ее, не притворяйся. Ты же убежден, что кто-то создал обман на планете, наверно, чтобы оправдать ее заселение, затем перенаселение. Обман этот называется необходимостью друг в друге. Мы не можем без врачей, без хлебопек, без торгашей, без множества людей, идущих сейчас по улице и имеющих разные профессии. Мы не можем без любимых, жен, любовниц... Наверно, самое справедливое и правильное было бы общество, когда все жили, будучи себе и акушерами, и хлебопеками, и ткачами. Любимые были бы нужны лишь для продолжения рода, и собственность на людей не распространялась.

Чтобы устроить мир по Мясникову, надо заткнуть рот человечеству. Столько болтовни вокруг — жратва, мебель, устройство, тряпки, секс, опять жратва и питье... А представить на миг — человечество заткнулось. Нет информации, соответственно, нет и обмена ей, разоряются медиамагнаты, загорают телевизоры, загибают дома. Люди перестают понимать, зачем они возле друг друга, и покидают семьи. Дома приходят в негодность и рушатся,

потому что некому сообщить о неисправностях, некому вызвать слесаря. Все разбредаются по белу свету, осваивая вольные пространства, и пытаются спасти себя остатками знаний. Редкие особи успеют сделать минимальный запас одежды и провианта, позаботятся о семенах для будущего года. Специально выращивать хлеб для других, для продажи никто не станет, потому что никто не будет знать, что он — хлебопашец. Мир будет устраиваться заново, и мы даже предположить не можем, каким он станет. Одно несомненно: останется много памятников человеческой глупости, например, дома-гиганты, заводы-гиганты...

Письмо десятое

Привет, душа моя Мясников! Знакомо ли тебе слово смысло-жизнеутрата? Ну, смысл-то знаком, хотя, может, и слова такого вовсе нет, так, придумалось на больную голову. А еще есть смысло-творение, это как раз ее величество литература. Туда ты и побежал от его величества изобразительного искусства. За смысло-творением! Потом побежал обратно, потом снова туда... Про тебя писали, я вычитал в журнале «Сибирские огни».

«...Учился в разных учебных заведениях без ясного стремления что-нибудь окончить. В итоге стал профессиональным художником, участвовал более чем в тридцати персональных и групповых выставках. Картины Николая Мясникова представлены в музеях Новосибирска и Новокузнецка, в частных коллекциях США, Германии, Лихтенштейна, Израиля, Франции, Швейцарии, Австралии.

Николай Мясников — личность эпохи Возрождения. Он синкретичен. Чеканщик, медальер, слесарь, токарь, скульптор, дизайнер, архитектор, гравер, дионисиец, аскет, проповедник, теолог, охотник до всего нового и одновременно тонкий знаток и лекционер материальной архаики, имеющей отношение не только к искусству, но и к быту, повседневному обиходу человека» («Картинки Н. Мясникова» Анна Радченкова).

Все творчество Николая Мясникова было сплавлено воедино идеей общечеловеческого гуманизма и страстным, даже воинствующим неприятием вульгарного материализма. Более 30 лет Николай Мясников как художник, писатель, мыслитель пропове-

довал идеи нестяжательства, возврата к простоте и первородности семьи и быта, ратовал за возрождение культурологического феномена России. В одном из радиоинтервью Николай Мясников озвучивал свои мысли так: «Рухнул миф о великой русской культуре. Мы воспитаны на том, что у великой страны должна быть великая культура. Насколько она велика сейчас — мы видим по телевидению. Мы видим в новой ситуации, в новом времени того же самого человека из не такого уж далекого прошлого, у которого двойное мышление и двойной счет, у которого фига в кармане и камень за пазухой. Сейчас много пишут и говорят, что Новосибирск по своему географическому положению должен стать каким-нибудь Чикаго или Сингапуром. Но при этом не учитывают, что любой крупный финансовый, промышленный, научный центр — это обязательно центр культуры. Не будет Нью-Чикаго без театров, галерей, журналов. Как не будет великой нации, великой страны без своей литературы. Потому что литература — это форма жизни языка. Исчезнет литература — выродится язык. Исчезнет искусство — наступит эстетическая слепота. Исчезнет музыка — слух погрязнет в какофонии безобразно-агрессивных грохотов и скрежетов. И выродится незаметно нация. Она потеряет свой внутренний стержень. И вместо великой державы будет транзитный вокзал».

Боже правый! Коля! Ты опередил кое-кого, но сейчас, увы, о том же самом трещат без умолку умные сороки. Правда, в жизни это ничего не меняет. А твое высокородное разочарование не усугубит хотя бы тот факт, что ты отрезан от телевизора, интернета и прочих коммуникаций. Сегодня, Коля, ты не человек Возрождения, ты — пьяница из Абрашино и тебе неизвестно, что нет ни одной идеологии, ни двух, ни трех. А есть ряд устремлений нескольких разнородных групп населения. Что же до поисков смыслов — здесь важнее всего то, что иссякли сюжеты. Без них смыслы бессмысленны! Как тебе каламбурчик?

Мясников! На улице плюс девятнадцать! Это чудо кажется уже не прощальной улыбкой осени, а издевательством. Завтра, нет, послезавтра грянет зима. Не хочу! Я вижу тебя, день ото дня утепляющегося, чтобы, когда похолодает, поутру выйти на крыльцо и сощуриться на новый день. Вот ты весь передо мной — с вольной

посадкой головы и серыми глазами за толстыми стеклами очков. Оправа «Директор», кстати, вышла из моды уж лет двадцать как. Впрочем, при ватной телогрейке и меховых чунях сойдет. Это все вне моды, это, Коля, вечно, как отсветы Возрождения.

Что это, ты проедаешь запасы, сделанные за лето, хотя еще не вошел в зиму? Эдак не дотянуть до весны.

Возврат к простоте... Этого ли ты добивался, поселившись в своем Абрашино, устроив скит у трассы, по которой пылят крутые машины, а по обе стороны ее день ото дня множатся дорогие дачи. Твой андеграунд изжил сам себя, поскольку не стало идеологии, а с ней и идеологических запретов, против чего выступал ты и все перечисленные выше художники. Ты, дорогой, спрятался от правды, которая почти всегда приносит разочарование. А правда такова, что в вожденном счастливом будущем оказался победивший прочие устои глобальный капитализм безо всякого намека на братство, равенство и прочие благоглупости. Ногами ты, душа моя, как и я, не буду отрицать, врос в коммуносоциализм или социалкоммунизм — называй как угодно. Реальность разделила собственность поровну между двумястами шестьюдесятью четырьмя избранными и четырьмя миллиардами остальных. Это к вопросу о равенстве. И тебе никуда не сбежать из этого миллиардного списка! Кстати, есть ли ты там? Хибару свою ты ведь не оформил в собственность. И что еще твое? Кот? Так он завтра сбежит или подохнет. Была бы хоть корова.

Погода ломается, ветер. Беспокойные листья метутся по дворам и дорогам. И чего им беспокоиться, мертвые уже! Вчера был на событии, где успешные люди отмечали какой-то юбилей. Зашел в обеденный зал — увидел прекрасно сервированные столы, за ними безумное множество красивых девушек и женщин. Прошло полчаса — ни одной, все какие-то серые с обилием отдельных недостатков. Да, брат, очевидно, не всегда стоит вглядываться. Кстати, сама жизнь такова, в нее нельзя слишком внимательно вглядываться, обязательно увидишь страшное. Просто живи и все. Ты, Мясликов, убежал от страха. Все, кто ищет перемен, рано или поздно оказываются перепуганными. Я это уже говорил где-то. Беда, постоянно преследует ощущение, а порой почти уверенность: я это уже говорил.

Письмо одиннадцатое

Вот и снег. И первые запахи зимы. Над моим городом летают чумовые птицы — голуби, вороны, воробьи. У меня башмаки из кожзаменителя, у меня клеенчатый портфель. У меня дует из окна. Если трещина мира проходит через сердце поэта, то я не хочу быть поэтом. Я должен бы сейчас мучиться с похмелья на даче у племянника, однако сижу здесь и даже рад этому. Там обманываешься, что дышишь свежим воздухом, укрепляешь здоровье в парной... Все равно рано или поздно надерешься.

Интересно, у вас в Абрашино на Мраморном озере ловится рыба подо льдом? Летом я видел там окуньков. Конечно, ты, Мясников, старый ленивый браконьер, давно уж, кроме сетей, никаких снастей не признаешь. А к озеру с сетями не подпустят.

Морозец. Снег. Солнце. Пустая голова. Сыну тоже поставили новые окна. Можно предположить, что по ту или другую их сторону, а то и по обе стороны жизнь как-то поменяется. Ты, Мясников, теперь не будешь являться в ореоле зимних узоров на стекле, хотя ты давно уже превратился в некий туманный призрак и лишь изредка просвечиваешь в дымке полубытия. Наверно, чтобы подразнить, похваляясь: я талант, это уже доказано, а вам всем предстоит доказывать себя в трудах. Трудитесь, идиоты, талант протекает сам собой и живет, как явление природы. Нет, Коля, лучше я почитаю твои глупости, чем выслушивать их. Этот твой рассказ мне прислал Берязев. Называется он «Нить».

«Осенью, копаясь в земле на своем огороде, я случайно нашел ржавый наконечник от стрелы. Отмыл его и разглядел. Что-то очень знакомое почудилось мне в его очертаниях... И я вспомнил, как когда-то давно, лет триста или пятьсот назад, в какой-то иной, уже забытой жизни, я натягивал тетиву, целясь в себя — будущего, просвечивающего размытым силуэтом где-то в невообразимой дали... И тогда я наивно верил, что стрела долетит до цели и разорвет этот бесконечный круг существования. И какие-то странные слова срывались с моих засохших губ... Но, пролетая сквозь толщу времени, стрела истлела, не достигнув цели. И древко превратилось в труху, и оперение запуталось в тонких волокнах какой-то иной эпохи. Только ржавый наконечник воткнулся в землю под моими ногами... Но теперь у меня есть винтовка, и мне ничего не стоит сделать от-

ветный выстрел, и одним чуть заметным движением пальца обрвать то бездонное прошлое, что неким таинственным образом вмешивается в мою нынешнюю жизнь. Надо только тщательно прицелиться в это размытое пятно между лохматыми краями татарской шапки, задержать дыхание и спустить курок. Но я знаю, что, пролетая сквозь плотные наслоения времени, моя пуля расплавится и кипящей каплей упадет на чью-то чужую землю... Я вынимаю патрон и ставлю винтовку в угол. Но странная мысль поражает меня... Я вспоминаю своего старого друга и незаконченные картины за его спиной, и полку на стене, где среди диковинных безделушек тускло светится давно пожелтевший череп с маленькой круглой дырочкой между пустых глазниц...»

Интересно, Коля, читал ли ты когда эссеистику Гарсиа Лорки? Он писал о фламенко. Это, по мнению знатоков, некое сочетание мавританских мечтаний и страсти, когда логика теряет смысл, это танец жизни, танец свободы, танец любви. Фламенко, и больше всего самая страстная ее часть сигирийя, рисовала воображению замечательного Лорки дорогу без конца и начала, дорогу без перекрестков, ведущую к трепетному роднику детской поэзии, дороге, на которой умерла первая птица и заржавела первая стрела... Что-то похожее, да, Коля? Но очень отдаленно.

Меня все долбит, доводя до сумасшествия, это дурацкое напоминание. Как будто я без того не помню. А домик на озере-чашке не построили! Детская дразнилка, повторяемая без устали... Вы, ребята, славную жизнь прожили, много дел совершили, других жизни учите, а домик, прилепленный к скалам над озером, так и не построили. Подумать: всего-то — домик! Вы не сумели догнать собственную мечту! Вы ноете по какому ни попадя поводу, вы ругаете и ругаетесь, вы более довольны собой, чем разочарованы. А главного не сделали. Дворец, населенный мечтой! Храм! Кто-то построил свой Тадж-Махал, не вы!

Простых слов всегда достаточно, чтобы написать высокое творение. Их отчего-то не хватает для простой жизни. Что такое имидж, по-русски можно? — спросили меня. И я растерялся.

Вчера сообщили, что число миллионеров в нашем городе заметно выросло. Это означает лишь одно: у кого-то настолько же

убыло. Не из чего черпать, кроме как от ближнего. А кто это такой нынче — ближний? Над нашим домом висится антенна. Кто говорит, что она для сотовой связи, кто — еще для чего. Мне иногда кажется, Коля, что эта антенна передающая и выносит она в эфир остатки человеческого в нас. На каждом доме есть такие антенны, и, очевидно, где-то стоит огромное приемо-передающее устройство, которое собирает все малые сигналы и выбрасывает затем в космос. Тот, ненасытный, питается нашим великодушием, умаляя его изо дня в день.

А ты все мудришь на тему реинкарнации, только тебе хотелось бы прижизненного переселения. Этакий опыт на пробу, эксперимент. Можно уйти от животного мира. Если уж прочитываешь в себе зверя, дичь, прочую живность, почему бы не обратиться во что-нибудь растительное. Неплохо бы стать сосной, вечнозеленой и колючей. Еще и жить дольше человека. А что если грибом? Опенком — срежут на жареху, а проглядят — червяки сожрут, мухомором — пнут с безразличием или злостью. Ягода, трава, паутина, листья... Можно получить разнообразие в цветах. Весной стародубка, подснежник, потом огонек, кукушкины слезки, незабудки. Ландыши, марьины коренья, шиповник... Но это все в начале лета, и у всего чересчур короткая жизнь.

Лучше перейти в другого человека. Я, например, хотел быть художником, к чему не имел ни малейшей склонности. Перешел — и стал, не то чтобы приобрел его качества, стал им. Представляю, я — это Георгий Алексеев, и это я, а не он написал чудесный натюрморт с ковылем и апельсином. Еще лучше уйти в женщину. Одно настораживает, нынче они или чересчур удачливые или слишком несчастные. Как-то совсем мало средних, чтобы всего в меру. Крайности в женщинах всегда опасны.

Письмо двенадцатое

За окном морозный смог. И самый короткий день в году. Это маленькая примета надежды. Как ни плохо живем, на Новый год будет икра и шампанское.

Наш маленький непостроенный домик не дает мне покоя. Наверно, надо поместить туда своих героев, и пускай они проживают за нас нашу жизнь. Хочу побывать в Сан-Франциско, хочу посмо-

треть на Елену, хочу говорить с ней. Мир стал доступнее, только отчего-то не для меня.

Откуда берется несовместимость? Прежде всего, от попыток совместить. Наполненные поэзией ночи рано или поздно заканчиваются. Возлюбленные, перейдя в иное качество, перестают писать стихи.

Какое-то свирепое нежелание нового года, отдалить его приход, отодвинуть!.. Абрашино. Белое безмолвие. Дом, занесенный под крышу. Сейчас откроется дверь, ты, Мясников, выйдешь на свет божий из своей натопленной избы и скажешь что-нибудь вроде этого: во чреве бытия теплее и уютнее, но воля влечет меня...

Твой дикий зверь многолик и непредсказуем. Сегодня это напуганная собачонка, озябшая, полуголодная, трясущаяся от страха. Бывает попугай. Куда реже — нахальная синица. Тебе хотелось бы завтра проснуться волком. А на деле выйдет какой-нибудь коростель. Может быть, шакал. Или осел.

Собака — домашнее животное. И если даже она родилась от бездомной суки где-нибудь в сыром подвале, она все равно не дикая. Она будет сторониться людей, как опасных зверей, но они вынуждены признать, что это не знающее дома существо — домашнее.

Ты пролетаешь над собственной жизнью. Интересно и как-то по-особенному жалко смотреть на все с высоты. Отдельные события помещаются в маленькие ячейки, собрание которых представляет собой что-то вроде скопления пчелиных сот. По какому принципу располагаются твои события, перемены — не понятно. География? Время? Настроение?

Соломон на вопрос, каков путь к счастью, ответил:

«Счастливы любящие, счастливы благодарящие. Счастливы умиротворенные. Счастливы нашедшие рай в себе. Счастливы дарящие в радости и счастливы принимающие дары с радостью. Счастливы ищущие. Счастливы пробудившиеся. Счастливы внимающие голосу Бога. Счастливы исполняющие свое предназначение. Счастливы познавшие Единство. Счастливы изведавшие вкус Богосозерцания...»

В общем, как ты понял, счастливы все. Ты — тоже, тут про тебя достаточно. Впрочем, не про тебя еще больше.

Ослепительное солнце. Рождественские морозы состоялись, это вселяет слабую надежду, что некоторые вещи и события в мире случаются по заведенному распорядку. Узнать бы имя распорядителя. И почему он ведет себя по отношению к земному населению столь избирательно? Я готов подчиняться высшей силе, а вынужден сгибаться перед очистками.

Смешной, маленький и, безусловно, талантливый художник Александр Потапов вдохновенно рисовал комсомольцев-богатырей на Всесоюзной ударной комсомольской стройке. Прошло время, и он стал шифровать в символических мазках некую угрозу миру. Что-то там, на его полотнах поделявает неистовый Фридрих...

Вырваться на простор, этому могут способствовать две вещи — деньги или отсутствие ответственности, то есть отпавшая обязанность те самые деньги добывать. Порочные круги, намертво запертые клетки... Мама в шесть утра шла в только что открывшуюся булочную за свежим хлебом, затем она убирала и без того сверкающую чистотой квартиру, что-то готовила, что-то стирала... И так изо дня в день. Я не догадался спросить, не чувствует ли она себя несвободной? Да что с того вопроса! Там, в той жизни, несвобода была во всем. Но в этой, нынешней, самым страшным оказалось — свобода. От убить ближнего до уничтожить государство.

Я, как и ты, Мясников, хочу наслаждаться жизнью, хочу доказать хотя бы сам себе, что она того стоит. Есть же способ жить за пределами предлагаемых обстоятельств, но как вывести необходимый алгоритм? Ведь, как всегда, решение лежит в области простейших понятий и чисел. Оглядываться в сторону погоста бессмысленно, однако они там, мудрые и талантливые, зовут за собой. Вот и задача — жить в мире живых, опасаясь их, отгораживаясь от них, получая от них, в основном, тычки и затрецины, и при том не слышать зова из мира теней...

Передо мной самоучитель игры на блок-флейте. Попытаться освоить инструмент на склоне лет — а почему нет? Это было бы забавно. Это было бы серьезным покушением на предлагаемые обстоятельства. Это было бы проявлением силы. Ну да, а еще физзарядка по утрам, обязательные страницы текста... Флейту я уже

упоминал где-то, именно такую, именно в той же роли дудочки-спасительницы. Зачем она у меня хранится? Какого часа ждет?

В каждом доме много чего не хватает, но еще больше лишнего.

Письмо тринадцатое

Представляю зимнее Абрашино, так изумительно одетое в поэтические покрывала Николаем Мясниковым. Представляю самого Мясникова, не испившего еще полной мерой чашу творческого тщеславия и человеческого честолюбия. Надо, очевидно, тебе, Коля, поменять вид творчества, чтобы вновь соблазниться этими алчущими тебя химерами. В Абрашине есть все, чего нет здесь — чувство безответственности, свобода от хлопот, отсутствие человеческой трескотни, присутствие тишины и снежного морока. Мир тебе, Мясников, мир твоим грустным собакам и белым снегам. Сколь ни пытаюсь, не могу вписать себя в абрашинские просторы, и потому ты сам, Мясников, — потерянный стаффаж в мертвелом пейзаже.

Нет, столько времени отводить на белое безмолвие, это бесчеловечно. Впрочем, природе плевать на человека с его притязаниями. Человек! Это смешно и дико — видеть светлым проблеском во всеобщем загнанном существовании индивида, который помнит наизусть Маяковского и видит местом прощания туалет.

Не нашла ли тебя книга Мураками? Не уверен, что хочу читать, но надо же делать хоть что-то, далекое от мер противопожарной безопасности, ремонтов машин и наставления идиотов. Интересно, что может вставить в мое послание компьютер? Пробую. Как встретил Новый год? Расскажи друзьям в своем блоге.

Вот, пожалуйста, ОНИ в своем блоге все еще отмечают Новый год. Спам поджидает тебя за каждым твоим движением. А может, неведомый кто-то специально делает так, чтобы ты как можно дольше думал о празднике. Благая миссия, кому-то надо!

Все более странные письма получаются, можно сказать, без адресата. Ты утерял телесную оболочку. Я дышу в твою сторону, и портьеры за твоей спиной колышутся. И взгляд проходит насквозь и не находит, за что зацепиться ни в ближнем, ни в дальнем пространстве. И космос молчалив и холоден. Там тоже зима.

И вот я тебя идентифицирую с твоей же помощью, то есть ты ведь написал это «Отражение». Когда-то.

«Я давно уже знаю, что с этим пора что-то делать. Но откуда я знаю — что?

Каждый раз, когда я хочу причесаться, я подхожу к зеркалу, но вижу там Мясникова, и руки опускаются сами собой.

Если я собираюсь побриться, я беру в руки бритву, но в зеркале меня уже поджидает Мясников. И он передразнивает меня.

Бритва выпадает из рук, брякнув о край раковины.

Когда я встречаю Володю Назанского, он начинает расспрашивать меня о Мясникове, но при этом старательно делает вид, будто речь идет обо мне. Мне становится неловко за нас обоих, и я ухожу. Он остается и делает вид, будто он удивлен моим бегством.

Иногда Мясников напивается, и тогда у меня болит голова. И мне трудно сосредоточиться на работе.

Но сегодня случай особый. Я услышал стук в дверь, открыл и увидел — опять! — Мясникова. И он быстро захлопнул дверь прямо перед моим носом.

Я стою на лестничной клетке перед собственной дверью и беспомощно злюсь.

Он живет в моей комнате, пишет мои стихи, пьет мой чай и стирает мои носки.

Он не трогает только расческу и бритву, потому что уверен, что в зеркале он увидит меня...»

Умный человек в телевизоре сказал: масса доказательств того, что в нашей стране общественно-политическая жизнь не имеет стратегической глубины. Я подумал, что стратегическая глубина твоей, Коля, жизни в Абрашино измеряется глубиной погребка со съестными припасами. А в остальном... Мы с тобой лишь подтверждаем тот факт, что социальная активность россиян одна из самых низких в мире. Только два процента населения России уверены, что они могут влиять на ситуацию в стране. Мы, Николай Федорович, туда не входим.

Нет, книгу отречений ты писать не будешь, лучше начать, к примеру, книгу мужества. Вот сейчас в самый раз, с твоей застуженной спиной. Нет, лучше книгу снов и фантазий. Или книгу писем

к любимой... Ты никогда не думал о том, что, перешагивая через себя, можно наступить себе на гениталии?..

Минус сорок! Мои деревья замерзли. Мои птицы падают на лету. А под окнами мужики копают траншею. Им деваться некуда, работа. Полет мысли давно уже остановлен, тоже замерз. Впрочем, даже величественные непогоды никак не могут научить человека, сбить с него спесь и гордыню.

Или попробовать написать письмо самому себе (как будто я делаю что-то иное, когда веду переписку с тобой, не предполагая ответа!). И тем не менее. Я пишу тебе (мне), как обычно, складывая послание из листа бумаги и чернил. Чернильница моя почти пуста, правда, иногда ее наполняет возлюбленный портвейн, иной раз редкие вспышки тоски по тебе. Любви давно уже нет, и потому удивительно, откуда берется тоска? Мой долгий день неинтересен: работа, приготовление ужина и мрачное ожидание сна. Все чаще я завидую тебе, твоим многочисленным бумагам, начатым и брошенным рассказам, запискам, ибо они раздражают тебя, зовут к жизни. Это важно, когда есть что-то зовущее к жизни. Дети, заботы, необходимость творить бытовые разности — вон сколько раздражителей. У тебя есть загородный дом, который в разное время в разной степени служит источником твоего раздражения. Тоже призыв к жизни.

Пишу тебе из Санкт-Петербурга. Просто захотелось написать именно оттуда. У нас теперь холода отпустили, и вновь подала голос вечная досада любви. Все ей мало, ненасытная! Я напоминаю тебе, как мы носили камни к дому художника Алексева во Всеволожской. Так делали многочисленные его друзья, знакомые, знакомые друзей. Камней столь много, что ими выложены все тропки сада, все дорожки на подходе к дому, площадка перед воротами. Это было... Последний из принесенных камней покрылся мхом...

А помнишь ли ресторан «Волхов» на Литейном, столик на четверых и заминку жены твоего друга? Ты даже и не подумал о том, что они подруги с твоей женой, и видеть тебя с кем-то из твоих знакомых дам ей не доставляет удовольствия. Тебя осуждали, а тебе было плевать на все. На нынешнем морозе плевки должны были бы превращаться в ледышки и со стуком падать на окаменевшую от стужи землю.

Я будто снова гуляю с тобой по Васильевскому острову и говорю в задумчивости, повторяя излюбленную фразу твоей возлюбленной: вот такой он, наш каменный город...

Помнишь «Котлетную»? У нас дома как не было «Котлетной», так и нет.

Не хотелось бы заканчивать письмо на этом, но еще больше не хочется продолжать. Скучай по мне, это тоже имеет отношение к жизни.

Письмо четырнадцатое

Нынче с утра ты, Коля, вышел прогуляться по морозу. Все вокруг залито солнцем, однако мороз на этом ярком фоне кажется еще более жестоким. Обещанное всемирное потепление получило пощечину. Так в свое время рухнули прогнозы по поводу обезвоживания Каспия. Природа, сотворенная атмосферой Земли, как будто не замечает саму планету, а тем более — научных теорий, рожденных на ней. Усилия, озарения, провалы, как итог деятельности серого вещества, — всего лишь естественные отправления одного из видов, населяющих планету. Какашек муравья никто не видит...

А все-таки хорошо! И никого в целом белом свете! Ты идешь сам с собой, живешь сам с собой, радуешься самому себе. Вообще-то Я — сдвоенная конструкция. А когда-то могло быть и ЯТы. Вещь растворяется в слове, слово утверждает вещь. Проклятые философы! По Дугину, когда мы говорим «я думаю», мы не подозреваем о том, что речь идет о случайном перекрещении внедренных в сознание кодовых таблиц. Ничего близкого к «Я», еще дальше от «думаю». Забавно, не правда ли?

Философы — бродяги, выбравшие себе заковыристый путь между здесь и там, причем обе станции они определяют вольным путем, как удобно для себя. Время, пространство — такие же игрушки, как камешки с берега Вечного моря. Это, наверно, здорово, не иметь ни страха, ни подбострастия перед бесконечными величинами, более того, утверждать, что они конечны. Однако у кого-то может возникнуть подозрение, что таким образом великие умы пытаются изгнать из себя комплексы неполноценности. Время доходит до конечного предела, мировые песочные часы пере-

ворачиваются... Философские игры. Во всем присутствует время. Песок получается из камня — со временем, сам переворот часов требует времени и происходит во времени. На все тратится время, и вечность, противопоставленная времени, — пустой звук, ибо представляет собой время, протянутое в бесконечность.

Коля, ты никогда не задумывался, что нет ничего лучше того, что окружает нас? Вот сейчас, в это мгновение, на этом трескучем морозе, в этой озябшей юдоли, именуемой между нами Абрашинским скитом? Поменяй уныние на восторг — и в мире ровным счетом ничего не изменится, но ты, Коля, воспарись над этим миром и поймешь, что нищает не он, нищает сердце, через которое мир проходит. Оно теряет остроту восприятия и попросту не видит, не замечает многого вокруг. Но есть спасение, замечательная черта — высокомерие перед миром. Это сила и здоровье, поднятые на фундаменте самой высшей философии, имя которой — глупость. В истинном восхищении перед химически чистой глупостью только и можно понять истоки и условия счастья!

Латинский глагол *revelo* одновременно означает и «вскрывать» и «закрывать». Современность, с точки зрения, Рене Гийома, есть аномалия, это всего лишь одна из моделей в рамках бесчисленного набора других возможностей.

В Анапе нашествие моллюсков.

Хакеры взломали паспорта будущего за два часа.

Бешеный слон напал на туристов в Таиланде.

Платье из четырехсот презервативов выставлено в Рижском музее.

Америка парализована из-за небывалых морозов.

В аэропорту арестовали женщину с человеческой головой в багаже.

Мир, в котором мы живем...

Предлагаю привычное «Как дела?» при встрече изменить на «Основания для оптимизма имеются?». По крайней мере, в этом вопросе меньше пустоты.

Мясников! Ты впитываешь это предвесеннее солнце всем своим уставшим, измаявшимся за зиму организмом. Ты на воле! Если в нашей всеобщей тюрьме есть заповедники, ты в одном

из них. Скоро в Абрашино не будет видно противоположно-го берега, Обь разольется. У меня гипертония и запрет на любимое вино. Впрочем, вино нынче что-то поплохело. Настоящего портвейна давно уже нет, пробовал пить кубанские вина. По цене хороший портвейн, по вкусу — спиртосодержащий продукт. Этот новый вполне себе узаконенный термин соответствует содержанию.

Опять солнце. Каждое утро — утро надежд. Вчера я написал заявление об уходе с работы. Очередной круг завершен. Возвращения не будет, хотя... Ведь можно возвращаться туда, где никогда не был. Ты же рассказал про свое «Возвращение в Эдем».

«Я давно здесь живу.

Если разобраться всерьез, я только этим и занимаюсь.

Меня знают здесь все, и многие любят. Меня любят дети, кошки, собаки и жены. Но не любят владельцы, отцы и — особенно — мужья.

Для меня в этом нет никакой загадки. Все очень просто. Дети и женщины любят, потому что умеют любить. Кроме того, когда они любят, это их радует.

Кошки с собаками тоже умеют любить, и это их радует тоже.

Владельцы умеют только владеть.

Мужья подражают владельцам. Если это не получается, а такое случается часто (ведь надо ж иметь определенные навыки, а у кого они есть?), то они обижаются и начинают говорить об обидах.

Всегда — об обидах.

А это не каждая выдержит.

Жены бегут, за ними дети, потом кошки, потом собаки. Это так заразительно, что мужья побежали бы вслед. Но как же они тогда смогут изобразить нам обиду? Они сидят неподвижно и покрываются пылью. Зарастают травой.

Трава начинает цвести.

Когда мы на них натыкаемся, мы принимаем их за лужайки, за холмики... Водим вокруг хороводы.

Дети, женщины, кошки, собаки. С ними и я неразлучно. Нам бы очень хотелось, чтобы на этих лужайках с нами вместе резвилась коза.

Но козу захватили владельцы...»

А ты не знаешь, Мясников, зачем я все время подсовываю тебе тебя самого? Знаешь, конечно! Ты сидишь в благословенном своем Абрашино и переписываешь сам себя на который уж раз. Начальная версия давно выпала из памяти.

В мире мудрых мыслей прижилась одна глупая. Она была так глупа, так никчемна, что распознать совсем невозможно, о чем она, эта мысль. В общем, так, пустышка, одно название — мысль. Но — она была. Шло время, мудрые мысли трудились без устали — мудрость не знает отдыха — изнашивались, стирались, теряли собственно мудрость и, естественно, старели. Тогда как наша пустышка бездельничала, жила себе вольным ростком во чистом поле. Возраст не читался на ее лице, гладком, розовощеком, счастливая улыбка не сходила с него. И тогда мудрые мысли начали всерьез присматриваться к своей никчемной соседке, которая доселе никогда не удостаивалась их внимания. Мудрые смотрели, делали выводы и поняли, наконец, что быть мудрыми в отличие от прочих себе дороже. И они решили поменяться. Нет, не подумайте — не местами с глупой! Они решили поменять себя, благо, пример перед глазами. При всей своей мудрости они не догадывались, что, стоит им только начать меняться, — и мир вокруг них изменится...

Это, Коля, начало сказки, продолжение за окном, посмотри внимательнее. И не забудь при этом напутствие Кафки: «За окном самое страшное. Все остальное ангелоподобно...» А конец предстоит нам с тобой придумать.

Письмо пятнадцатое

Луна вступает в новую фазу, что, по словам астрологов, нынче благоприятно для родившихся под знаком «рыб», то есть для тебя, Коля. Да и то — пора бы! А вот интересно! «Рожденные под этим знаком интересуются мистической и духовной жизнью и разнообразными необъяснимыми явлениями, что вообще свойственно Рыбам. Часто эти люди являются фаталистами, а потому встречают удары судьбы гордо и с высоко поднятой головой. Они сильнее, чем кажутся окружающим и себе, но эта сила и стойкость часто раскрывается только если у этих людей случается какая-то беда, которая парадоксальным образом в итоге помогает им познать себя и стать более развитыми личностями».

Не будем же мы, Коля, поджидать беду, чтобы доказать миру, что мы лучше, чем есть на самом деле! Но имей в виду, воображение и поиск художественных замыслов сегодня вредны для жизни. Знакомый кинооператор звонит:

— Все идиоты и бездари востребованы! Специалисты сидят по домам!

— Привыкай, — говорю, — такова новая реальность.

Мясников! Все-таки ты самовлюбленный тип, но ведь эта самовлюбленность — лучшее средство спасения против ополчившегося против тебя мира, не так ли? Она питает ту скудную почву, на которой тебе приходится произрастать, ибо больше питаться нечем. Самовлюбленность — самодостаточность — самореализация... Ты отдалился от сибирских столиц, но этой удаленности тебе недостаточно. Ты раздвигаешь границы огорода, чтобы удалиться от соседей, до которых без того — случись что — не докричаться. Кстати, настоящий себялюб просто обязан быть мизантропом. Что там за творческий псевдоним ты себе придумал? Маклай? Так тот исследовал свои отношения с туземцами, ты же придумал иное занятие — исследовать принципы отторжения. По логике — надо закончить круг: отторгнуть городских, деревенских, редких гостей, собак, наконец, и тех прогнать от себя...

Что там твоя деревня! Наш город некто охарактеризовал, как закрытый мир для большинства его жителей.

Незаметно протекает жизнь литераторов и художников в нашем городе. Хороший сюжет — Анатолий Корчуганов. Не стану тебе объяснять, кто это, приедешь — познакомлю.

Голуби залетели необычайно высоко и полощутся там на ветру, точно тряпье, поднятое с помойки. Ощущение, будто птицы в этом состоянии испытывают какое-то особое удовольствие. Вполне возможно, это у них такой способ ухода за собой.

Все — фрагменты византийской мозаики, великолепные фрагменты, которые никак не складываются в цельное панно. Сплошные фрагменты — от Новгорода до Константинополя.

Дорогой Мясников! Ты давно не отвечал на мои письма. Какво начало, а? Ты ведь не ответил ни разу, и мы оба прекрасно это знаем. Знаем с тех самых пор, когда...

«Слава Богу, наступила свобода!

И теперь можно писать все, что придет в голову, не избегая самых коротких слов.

Можно рисовать любые картины и показывать разным людям. И никто не упадет в обморок, чтобы, очнувшись, сразу побежать с доносом...

Можно просто ничего не делать. Не делать важного вида, не творить мировую культуру, не лезть на страницы газет, на экраны телевизоров, в историю.

Вообще никуда.

Можно просто пить пиво — сидя, лежа или прогуливаясь по улицам, чтобы взглянуть в озабоченные лица сограждан, — потому что наступила свобода, и потому что это —

Сибирь, глухая провинция, наша родная окраина мира.

Весь остальной мир находится так далеко, что нам пришлось бы подпрыгивать тысячу лет, прежде чем он заметит какое-то шевеление где-то за Уральским хребтом.

И уж если писать картины, то только для себя, только для себя и никому не показывать. Чтобы им тоже не было стыдно.

Бог с ней, с мировой историей. Прощай, мировая культура.

Наливайте, пейте.

Присматривайтесь...»

Замечательный человек жил у меня по соседству, Николай Михайлович. Нет теперь соседа. То есть он живой, и забор, за которым он обретается, на прежнем месте. Меня нет. Дача продана. Без малого тридцать лет копал я огород. И дом построил. И жил в доме том... А Михалыч строгаёт доски. Себе, людям... Каждый день обязательно включает свою циркулярку, и она весело позванивает на полдеревни. Легче надо расставаться! — говорю я себе. — Легче!

Письмо шестнадцатое

В тот год молодой картошки не было. Подкопали на первую пробу — а там уже обтянутые задубелой шкурой клубеньки. Второй куст вскрыли — то же самое. Болезнь, что ли, какая? Так и не понял никто. И вкус у нее без привычного аромата, который поджидаешь едва ли не с нового года. И огурцы на просол складываешь, думая, что аккурат к первой молодой картошеч-

ке поспеют. И грибочки. Каково это — вдохнуть парок особого настоя из распахнутой восторженной земли и веселой, плодovитой осени! А тут- картошка без запаха и вкуса... Обиженными себя почувствовали большие и малые земледельцы, обойденными. А бабка Терпильевна, соседка через огород, поменявшая опыт жизни на телевизионные подсказки, выразилась следующим образом:

— Подумаешь, картошка до срока состарилась! У них вот океян на крайнем севере теплеет. И льды растаивают. И скоро всех отскудова вместе с картошкой смоет.

Ах, Коля!

Какой-то праздник по календарю. Тебе привезли шампанское. И ты рад. Ты собираешь по дому последние листочки рукописи новой книжки, готовишь к изданию. И ждешь, и надеешься, и вожделеешь... Эй, Мясников! Ты ли это? Ты будешь бегать по издателям и знакомым богачам, чтобы издать эту книжку?

Тебе не кажется временами, что твоя покосившаяся изба с твоим огородом, окруженным покосившимся забором, стоит посреди Новосибирска? Тут журнал, тут издательство, тут бывшая жена и любовницы, тут книжные развалы... Ты никуда не уехал, ты окружен всем тем, от чего якобы убежал. А что твой зад мнет табуретку за пару сотен верст — это ничего не значит. Твои соседи потому тебя терпеть не могут — ты вечно чужой. И ты, в свою очередь, готов отстреливаться.

Коля! Коля! Коля! Душа моя давно к тебе просится. Хотя, подумав если, про душу свою давно уж ничего не знаю. Она со мною не общается, высокомерная какая-то стала — цаца! Я, конечно, не подарок, наплевал в нее за свою жизнь немеряно, только ведь она бессмертна, стоит ли обижаться на тленную оболочку, временное, ненадежное пристанище? Но, как бы там ни было, что-то зовет меня к тебе, манит с безудержной силой.

В доме напротив загораются окна, люди вносят жизнь в пустовавшее до этой поры жилье. Оно наполняется голосами, запахами, движением. Но это зачастую лишь приметы жизни, не жизнь. Все состоит из примет, все заселено приметами. Вместо благополучия приметы его, вместо любви — приметы, вместо счастья — приметы...

Странное время... По Аполлону Григорьеву, художник пишет жизненно законченные типы. И он же утверждает (абсолютно справедливо!), что в иные времена, особенно в такие, как нынешние, писать о плохом куда легче, чем о хорошем. Руда обеднела, а добывать из нее чистое вещество надо в тех же количествах. А главное — в том же качестве! Парадоксы! Все больше затрат ума, времени, сердца — и все меньше это стоит хоть в денежном выражении, хоть в интересе окружающего мира. Никто никому неинтересен! С любовью смотрят только на твой карман, он же может вызвать жалость и презрение. Жизнью законены не только типы, но и отношения меж ними.

Мой немногословный племянник в последнее время стал еще молчаливее и, как древний мудрец, афористичен в своих редких высказываниях. Едем с ним вдоль бора.

— Бывало грибов в этом лесу! — вспоминаю я. — Да и самого леса стояло поболее...

— Бывало, мы вдесятером помещались в песочнице...

Письмо семнадцатое

Как трудно бывало дотянуть от осени до осени! А нынче и во все не получилось.

Это уже не сюжетный поворот, это случилось на самом деле — ты умер, Николай Федорович. В последние минуты, когда сознание возвращалось к тебе, ты отправлял вопрос в никуда: в Новосибирске похоронят или в Абрашино? А разница? Какая разница, Коля, если Земля едина? Вот ты лежишь и совсем не похож на себя с той фотографии на сборнике рассказов. Ты лучше. Ты без обмана, вечный обманщик! Смерть никого не красит, но она убирает лишнее. Она еще тот график, и сейчас ты похож на твой автопортрет в одну линию: взмах угольком — и вот она, точная копия. Большому мастеру Даниле Меньшикову такого результата не достичь. Данила, еще один дачник из Абрашино, ваши дома на одной стороне главной Абрашинской улицы.

А, кстати, где Данила? Ты не видишь его среди гостей. Хм, гостей... А как назвать тех, кто пришел на похороны? Прощающиеся? Ну и словечко! Пришли не к себе домой — раз, на короткое время — два, после всего их ожидает угощение. Гости как есть!

И не надо вспоминать о том, что все мы гости на этом свете. Вот ты, Коля, уже отгостил. Закроют, зарюют, и ты уже никогда не узнаешь, сколько рюмок выпьет на поминках Слава Михайлов до той поры, когда вцепится в рукав Берязева и потребует ответа за твою смерть. Ему совсем не важно, что Берязев никак не может быть виноватым в твоей смерти, он, по мнению Славы, виновен в гибели всякого творческого начала и, прежде всего, его, поэта Михайлова, много лет тянувшего лямку сотрудника журнала. А Данилы все нет. А это чья там спина возле дверей? Никак Толя Соколов? Стоп! Какой Толя? Он умер двумя годами раньше и никак не может быть здесь. Или явился некий переходный коридор, когда доступ оттуда сюда для особо желающих открыт? Путь отсюда туда открыт всем без исключения, а вот оттуда... Феномен не изучен.

Все успевают сделать мало, меньше, чем могли бы. Чем хотели. У тебя вот фронто́н остался не закрытым, крыльцо не подправлено, что уж говорить о заборе, вместо которого полынь да крапива. И завещание ты не написал. Правда, успел продать половину своего участка той самой дочери своего городского приятеля, с которой у тебя когда-то случился роман. Молодая дама приехала с мужем, и ему понравился участок. А тебе край как нужны были деньги. Насколько мне известно, на издание новой книжки. Тщеславие паче мудрости... А из того романа не вышло романа, прости за каламбур. А было бы интересно, ты бы, как всегда, перевернул все правила с ног на голову, придумал бы совсем придуманных соседей по планете. Увы, ты никогда бы не написал этот роман, ты — человек короткого дыхания, спринтер.

Ну и дрянь же эта абрашинская самогонка! Берязев, сосед твой, настоял, чтобы на помин души твоей нетленной мы выпили именно этот напиток. Иначе душа твоя, дескать, не примет нашего поклона. В истории, которая вместит твою жизнь этот гадкий напиток безусловно займет особое место.

Кому хуже — Абрашино без тебя или тебе без Абрашино? Деревне все равно, она давно уже потеряла себя. Сметаны не купишь, коров — сколько пальцев на руке, дачники в драку за молоком. Одна фермерша Лариса за всю деревню отдувается — куры, утки, гуси, свиньи, овцы... Скоро новую паромную переправу откроют, совсем близко будет от города до Абрашино, проглотят деревню

дачи. Да и тебе все едино, поскольку, сказано уже, едина земля, принимающая и только что рожденных и прах сынов своих проживших. И не получается от земли оторваться ни живым, ни мертвым. И пеплом стать — все одно на землю падешь.

«Над тобою бархатное небо.

И тысячи лун на нем.

И звезды — как крупный орех...

Для тебя — лимонные облака на закате — легкие, как перо по-пугая, и прозрачные, словно лунный свет.

И сладко цветут деревья, и сквозь этот сладкий запах тихо дышит теплое море.

Для тебя — шорох платья и блеск камней, и музыка, и фонтаны шампанского. Звон бокалов и звук поцелуя.

И юноши, срывающие цветы, чтобы надкусить стебелек...

И хочется плакать и плавать, веселиться и танцевать...

Я лежу на краю Земли. Врастаю ребрами в почву.

И по ребрам колотит сердце...

Вслушиваюсь в эту бездонную тяжесть в тайной надежде услышать тихий ответный стук.

Земля...»

В березевских записках отыскалось вот это:

«Перебираю близкие имена.

Взвешиваю былые и неизжитые вины...

Николай Фёдорович МЯСНИКОВ, художник и писатель, лет двадцать или около того мы были близкими друзьями. Умер в Абрашино в марте 2012 в возрасте 58 лет. Сегодня, проведывая внучку Володею, столкнулся взглядом с его картиной «Яхты». Ничего не ушло...»

КОГОТЬ

Кривизной ястребиного когтя

Сквозь холстину опавшей листвы

Две николкины смерти проходят,

А на третьей — не снести головы.

Коло-Коля! Бродяга и лапоть!

За околком твой полдень звенит...

Корку грызть или по небу плавать
Всё одно для тебя. Ты открыт
Бесполезному ветру и свету.
Кружит ястреб над ветошью лет.
Дай ответ! Только нету ответу.
Где ж ты, дурень, рыбак и поэт?
Входит коготь под самую жилу,
Раздирает холстину до дна,
Смерти нет — только свежесть и сила!
А царапина — не видна.

Что-то неправильное происходит. Данила разошелся со своей чудной женой и оставил Абрашино. Только разноцветные наличники напоминают, что здесь когда-то жил художник. Муза осталась. Ее привозят сюда на машине, размерами напоминающей тепловоз. Берязев разошелся и оставил свое имение сыну. Твое место заняла прекрасная дама с семейством...

А как же я?! Как же без меня Караканский бор, грибы-опята под старым березовым пнем, Мраморное озеро, Обь с чистыми песчаными берегами, с окунями, каких я нигде больше не ловил? Я-то как, Коля!?

Нина Ягодинцева

Родилась в Магнитогорске. Закончила Литературный институт им. Горького. Поэтесса, секретарь Правления Союза писателей России, кандидат культурологии. Автор поэтических и научных книг. Руководитель литературных курсов при Челябинском государственном институте культуры.



НА ТОНЕЬКОМ НЕБЕСНОМ ВОЛОСКЕ

Последней каплей воздуха клянусь —
Не оглянусь! И тут же оглянусь.

Но улочка осенняя пустая,
В задымленное небо прорастая,
Дрожит и расплывается:
Над ней
Уже плывёт гроза грядущих дней.

Здесь жизнь была!
С деревьев на перекрёстки
Потоком льются крохотные блёстки —
Пустые облетают зеркала...
Но жизнь — была!

И, жадный взгляд безжалостно стирая,
Взвивается из крон воронья стая,
Летит, как будто счастье унося.
Оглядываться, стало быть, нельзя,

А пуще — клясться выдохом и вдохом
Прошедшим ли, грядущим ли эпохам:
— Не оглянусь. Моё всегда со мной.
— Оглянешься. Но пусто за спиной.

Я никуда не денусь:
Дороги сердцу нет,
Пока свеча-младенец
Сосёт из мрака свет.

Смотрю замороженно,
Как сумрачным челом
Склонилась ночь-мадонна
Над струганным столом:

Жасминовая кожа,
Испарина тоски...
В такое бездорожье
И душу не спасти —

В тревожных колыбельных,
В неувимом сне
Лишь сосен корабельных
Блужданье в вышине.

Но, тишину сминая,
Встаёт в дверях, строга,
Сырая, росяная,
Студёная тайга

И, заслоня утро,
Идёт по сквозняку
Гасить во тьме приюта
Неясную тоску...

Тьма
Опускает сеть
На лёгкую добычу:
На слабый шепоток, на эту нежность птичью,
На робкое — до слёз! — желанье просто жить:
Губами снег ловить, зерно ссыпать в кормушку,
Герани поливать из чайничка...
Неужто
Тебе, небесный мрак,
Невинный быт претит?
Зачем тебе, тоска и смертная забота,
Зелёный лопушок у хлипкого забора,
Раскрытое окно и занавески плеск?
Что будешь делать ты с добычей бесполезной —
Бессмысленно греметь решёткою железной,
Пытаясь запереть неуловимый блеск
Обыденной любви, пекущейся о каждом?
Мы тянем эту нить, мы наши гнёзда вяжем
Над бездной пустоты на прочных ветках звёзд.
Как будто паучки на лёгких паутинках,
На милых пустяках и радостях невинных
Мы просто улетим из наших летних гнёзд.
Но здесь, сейчас, пока, ночами громыхая,
Над нами ты стоишь, безумная, глухая,
И огненную сеть бросаешь с высоты
На доли и холмы, на пастбища и пашни,
Я вижу, как тебе невыносимо страшно:
Пока вокруг любовь, несчастна будешь ты.

Июль по кругу — чашей дождевой:
Прильнёшь на миг — и век не оторваться!
И чувствуешь себя сырой травой,
Записанной в неведомые святцы.

О, имена печали и любви,
Летающие по солнечному кругу!
Как сладко жить цветами и людьми,
Передавая братину друг другу.

Касаясь расписного холодка
Внезапно пересохшими губами,
Когда сквозь грозовые облака
Проносится живительное пламя...

Ни капель шум, ни перестук часов —
Никто не знает, сколько время длится:
Перед тобой раскрыт именованье —
Цветы и звёзды на твоей странице...

Так вот живёшь и ждёшь.
Сердце как свечку жжёшь.
И, подойдя к черте,
Щуришься в темноте:
Господи, где Ты, где?

— Здесь. Никому из вас
Не закрывали глаз.
Даже в кромешном сне
Вы на пути ко Мне.

Если б Он говорил —
Так бы Он и сказал.
Если б хватило сил
Верить своим глазам,

Не опуская взор,
Не шелохнув ресниц:
Если Ты до сих пор
Снился — и дальше снись!

Сквозь опалённый лёд,
Сквозь реактивный вой
Сердце к Тебе плывёт
Капелькой восковой:

Крошкой небесных сот,
Искоркою тепла,
Выдохом слабым: вот,
Только и донесла...

Пятнадцатое. День сороковой.
Печальный холмик, убранный листвой,
Над ним сирень — сухая, жестяная.
Над ней берёза в нимбе золотом
Стоит с улыбкой, словно вспоминая
Небесный дом.

Такая высота над головой!
Такой простор, пронзительно живой,
И птички переклички — будто вспышки.
И хочется скорей закрыть глаза:
Коль тайну эту увидеть нельзя,
Быть может, угадать — хоть понаслышке.

Коснуться слабым краешком души:
Светло ль тебе в твоих селеньях дальних?
А тут ещё светло, и мы пришли,
Хоть нам уже отказано в свиданьях,
У дорогого холмика земли

Увидеть жизнь в слезах её и тайнах,
Во всей её невысказанной тоске,
На тоненьком небесном волоске,
В скольженье бликов радостно-случайных.

Время сгущается над головой,
Ночь каменеет, как будто впервые:
Это на западе фронт грозовой
Передвигает полки боевые,

Это по южной степи ковыли
Молча, безропотно в пламя ложатся,
Это с востока везут корабли
Розовый пепел сгоревшего царства,

Это на севере белая мгла
Смотрит угрюмо и дышит свирепо,
Неосторожным движеньем крыла
Звёзды сбивая с морозного неба...

На перекрестье безумных ветров —
Ветхие стены, соломенный кров,
А у крыльца молодой одуванчик
Солнцу навстречу раскрыться готов.

Кажется — всё, и развязка близка,
Ночь каменеет, пирует тоска —
Но неужели у нас меньше веры,
Чем у цветка?

Маме

Спит в кувшине молоко,
Дочь уснула в колыбели.
Половицы заскрипели...
Оглянулась — никого.

Только дышит глубоко,
Белоснежна как невеста,
Тоненькая занавеска —
И за нею никого.

За окном сплетает сад
Полудённую прохладу,
А по самой кромке сада
Колокольчики звенят.

Кто-то ходит стороной,
Просит птиц утомониться,
На узорчатые листья
Осыпая лёгкий зной.

Пригляделась — никого,
А прислушалась — молитва...
Тихо скрипнула калитка
Где-то очень высоко.



Владимир Клевцов

Родился в 1954 году в городе Великие Луки. Окончил Великолукский сельскохозяйственный институт. Работал зоотехником, лесником, журналистом. Автор сборников повестей и рассказов. Лауреат Горьковской литературной премии (2017). Живет в Пскове.

ПАН-ПАНЫЧ

Если о Пан-Паныче сказать коротко, одним словом, это слово должно быть ласковым, каким ласковым, не по-земному светлым, являлся он сам. Появление его в нашем дворе было сродни лучу солнца, выглянувшему из-за туч после затяжного ненастья. При виде его гулявшие тут же мамы начинали улыбаться и невольно наклонялись над колясками, сравнивая с Пан-Панычем своих младенцев. Пожилая и неряшливо одетая дворничиха тетя Тоня подолгу смотрела ему вслед, и на лице ее, как отблеск далекого костра, бродили воспоминания о том времени, когда она девчонкой бегала на первые свидания.

С лучом солнца сравнивала про себя сына и безмерно его любившая мама. Еще она называла его подсолнушком, имея в виду золотистый цвет волос.

— Какой подсолнушек у нас ладный да пригожий, какой особенный и исключительный, — говорила она. — Какой послушный.

Пан-Паныч был предметом гордости мамы, только папа не видел в этом ничего хорошего. И сердце его сжимала тревога: служивший в свое время действительную на Кавказе, он знал, что такие вот наивные, неприспособленные и ласковые на войне не выживают, да и в мирное время их ждут всяческие беды и разочарования.

Ребята во дворе сначала звали его Паном, сокращенно от фамилии Панов. Но многозначительное слово это никак не шло к его хрупкой до худобы фигуре, русо-золотистым волосам и тому доверчивому и внимательному взгляду широко открытых глаз, какой бывает только у детей, уверенных, что никто не причинит им зла. И ребята стали звать его ласково Панычем, или Пан-Панычем.

Его любили. Обычно дети жестоки и несправедливы к слабым, не похожим на них, но Пан-Паныча любили и они. Он не принимал участия в особо шумных играх, но с такой искренней заинтересованностью переживал все происходящее, подпрыгивая от радости и хлопая в ладоши, если кто-нибудь из игравших мальчишек забивал гол, или бегавшие в догонялки и самозабвенно визжавшие девчонки ловили друг друга, что дети невольно старались один перед другим заслужить его одобрительное внимание.

Годам к десяти он и сам понял, что отличается от остальных, и стал еще больше сторониться шумных детских игр. Наверное, именно тогда в нем и зародилось желание стать путешественником. Путешественники были люди отважные, наперекор всему открывавшие новые земли, впервые видевшие никому не известные народы. Но они в своих путешествиях были еще и глубоко одинокими людьми, сосредоточенными в себе, и это второе в них нравилось Пан-Панычу больше.

Двор примыкал к дороге, за которой начинались сырые, заросшие кустарником поля, где вечерами дрожаще зажигались огни какой-то деревни. Иногда ребята бегали играть в поля, брали с собой и Пан-Паныча. Но теперь его внимание, помимо игр, привлекали и черные точки деревенских домов, придавленных тяжелым, затученным небом. Деревня казалась ему неизведанной землей, которую надо открыть. А что за неизвестные люди там жили? Судя по тому, что он никогда не видел их в городе, они были одиночки, всеми брошенными и никому не нужными.

И однажды он решил. Вернулся из школы, наскоро сделал уроки и отправился путешествовать. Было это уже в сентябре. Осень наступила рано, весь месяц лили дожди, но листва, кое-где перебитая желтыми прядями, еще держалась крепко. Ребята на улицу не ходили, и двор пустовал. К вечеру, когда

дождь усиливался, казалось, что двор погружается в стущающихся сумерках на дно, с тем, чтобы на рассвете вновь выплыть на поверхность.

До деревни он добрался за полчаса. Здесь и правда жили очень забытые, никому не нужные люди. Он бродил по улице мимо заборов, за которыми тускло отсвечивали окнами пустые дома. Ноги то и дело соскальзывали в колеи, залитые лужами и имевшие такой же, как и окна, мертвяще-оловянный цвет. В других домах еще жили, и оттуда на него с изумлением глядели старики и старухи, пока одна из них не вышла и не расспросила, кто он такой.

— Я путешественник, — сказал Пан-Паныч.

— Господи, в такое время путешествовать, нет, чтобы дожидаться хорошей погоды. А родители-то знают?

— Пока не знают.

— Беда с вами, с маленькими. Вон весь вымок. Заходи в дом, погрейся.

Пока Пан-Паныч заходил погреться, в городе с работы вернулась мама и, не увидев сына, бросилась по соседям, надеясь найти его у кого-нибудь из ребят. Любившие Пан-Паныча ребята теперь, когда он пропал, все как один проявили желание немедленно начать поиски в соседних дворах. Мама уже плакала, папа стоял рядом с таким лицом, словно сбывались его худшие предположения. И когда решено было вызвать полицию, Пан-Паныча привела за руку старушка из деревни.

Первое путешествие поразило мальчика и только усилило его желание продолжать начатое. Каждый человек рождается для своего главного, необходимого дела, и беда тому, кто его не находит, проводя жизнь впустую. Пан-Паныч нашел себя в путешествиях. В следующий раз он добрался до новой деревни, но теперь, наученный опытом, вернулся домой раньше родителей. Они так и не узнали, что он скитается по городским окраинам.

В походах с ним случилось то, что и должно было случиться в силу его необычности и непохожести. Должно было произойти нечто невероятное и произошло — у него вдруг открылась способность слышать голоса из прошлого, улавливать когда-то происходившие в этих местах события.

И тут, наверное, не было ничего странного. Кто-то ведь выделил его из других детей и, видимо, не захотел останавливаться, вложив в его душу особую, трепетную чувствительность.

Произошло это уже в первом походе, когда он сидел в доме у пригласившей его старушки. Он пошел к ней не без волнения, ожидая увидеть жилище, внутри чем-то похожее на избушку Бабы Яги, с жарко полыхающей печью, закопченными углами, с развешенными по ним пучками сушеных трав и черным котом. Но все оказалось обыкновенным: стол со скатертью, кружевные занавески, чисто вымытый пол, застеленный цветными половиками. Кот, правда, был, но только белый, с голубыми глазами, с темным хвостом и носом, возле которого, как скатившаяся слезинка, светилось крохотное пятно.

Пан-Паныч, греясь, сидел за столом, немного расстроенный обычностью домашней обстановки, когда рядом послышался неясный шелест множества голосов, отдельные радостные восклицания, звон стеклянной посуды, как бывает на празднике или свадьбе. Голоса звучали то громче, то тише. Они врывались в деревенскую избу ниоткуда наподобие морских волн, которые то с грохотом бьют в берег, то с шорохом откатываются по песку обратно. И он понял, что когда-то в доме жили разные люди, собиравшиеся за этим столом, и он сейчас слышит их голоса. Словно плотная стена, что отделяет нас от прошлого, треснула, и в образовавшиеся щели подуло сквозняком.

И пока хозяйка подогревала на кухне чайник, он рассматривал фотографии на стенах, видел старые и молодые лица, и уже знал, что это их голоса звучат за столом, и кто из них умер, кто убит на войне, а кто живет далеко отсюда и никак не может собраться навестить одинокую старуху...

В своих скитаниях, как и ожидалось, Пан-Паныч был одинок. Дороги, особенно проселочные, без знаков и указателей, тем и хороши, что затягивают, влекут вперед, и сколько бы ты ни прошел, все кажется мало. Будто кто-то, скрываясь вдали, указывает путь, и когда ты устал или задумываешь повернуть обратно, окликает и зовет за собой, обещая за поворотом что-то новое, ранее не виданное.

Дороги влекли Пан-Паныча, и по-прежнему он слышал голоса прошлого. Однажды поблизости раздался лязгающий грохот тан-

ковых гусениц, но чаще в пути его преследовал догоняющий скрип тележных колес, и хотя лошадей здесь он никогда не видел, первое время невольно сторонился, уступая дорогу неведомому ездоку.

Возвращался из школы и, отложив домашнее задание на вечер, сразу отправлялся в поход. Он шел налево или направо, зная, что за одной деревней через километр последует другая, затем третья. Порой он забирался так далеко, что домой приезжал на автобусе.

Вскоре в окрестных деревнях среди одиноких стариков и старух появились слухи, что по их краю ходит светлый отрок — появляется ближе к вечеру неведомо откуда и пропадает непонятно куда, а зачем ходит — неизвестно: может заблудился, или оставшись сиротой и сбежав из детского дома, ищет дальних родственников. И тогда во многих домах старики и старухи начинали высматривать в ранних сумерках идущего отрока в надежде, что ищет он именно их.

Наступило время, когда Пан-Панычу стало тесно в исследуемых границах, и он решил расширить круг своих странствий. Он еще не задумывался, каких берегов достигнет, но неизвестные земли звали в дальнюю дорогу. Уже в начале зимы, а зима тоже наступила рано, одарив землю обильными снегопадами, он сел в пригородный поезд и через час сошел на какой-то станции, привлеченный приземистым видом каменного вокзала со стрельчатыми окнами. Вместе с ним сошли еще несколько человек и скрылись за тяжелой вокзальной дверью, хлопнувшей им вслед с крепким стуком, с каким, предварительно подышав и размахнувшись рукой, ставят печати.

За городом снега было больше, и когда, прогудев, отправился поезд и смолк вдали напевный стук колес, стало совсем тихо. Пан-Паныч пошел на вокзал. Если раньше в деревенских домах голоса из прошлого слышались, как шелест трав, то вокзал встретил его громом криков, плача, смеха, гудков паровозов, торопливым топотом ног, всех тех звуков, что впитали его стены за полтора столетия.

Сколько событий пронеслось за эти годы, сколько революций, войн, словов, гигантских строек, освоений сибирских и целинных земель. Все широкое полотно истории, казалось, сузилось до нити и прошло, как в игольное ушко, через этот поселковый вокзал.

Отсюда уезжали воинские эшелоны, набитые мобилизованными, и тогда вокруг стоял детский и бабий плач. Сколько встреч и расставаний он помнил, сколько судеб терялось навсегда и восстанавливалось под его сводами, сколько гармоней и студенческих гитар здесь играло.

Пан-Паныч, как вошел, так и сел, оглушенный, на длинную деревянную скамью. Звуки волнами ходили в замкнутом вокзальном пространстве, сталкиваясь и закручиваясь в водовороты. Иногда сквозь грохот и треск прорывались и тут же угасали, как в испорченном радио, разные песни: то вдруг задорно прозвучит «Едут, едут по Берлину наши казаки», то ворвутся задумчивые «Подмосковные вечера», которые сразу накрывали пронзительные слезные крики или радостные восклицания.

День был ясный, за стрельчатыми окнами по заснеженным веткам привокзального парка скользили лучи солнца, где-то вдалеке проезжали машины, а Пан-Паныч никак не мог сдвинуться с места. Так, оглушенного, его и заметил полицейский, отвел в дежурную часть, позвонил в город и вскоре за мальчиком приехал папа.

Обратной дорогой Пан-Паныч молчал. Молчал он и дома, хотя мама, плача, просила его поклясться никогда и никуда больше не уходить и не уезжать.

О том, что он слышит голоса прошлого, мальчик не сказал. И правильно сделал, иначе мама, успокоившись и вытерев слезы, в слепой материнской гордости обрадовалась бы открывшемуся в сыне дару, которым отмечают лишь особенные, исключительные дети, а папа окончательно убедился бы, что таким людям, как Пан-Паныч, на земле не выжить.

В конце зимы папу, человека военного, перевели в другую часть, и семья Пановых уехала куда-то в прикаспийские степи. Вскоре от них соседям поступил телефонный звонок: Пан-Паныч опять исчез неделю назад, объявлен розыск по всей стране, и чтобы соседи имели в виду, если мальчик появится по прежнему месту жительства.

Пан-Паныч не появился. Да и зачем путешественнику, скитальцу, возвращаться на прежние места, если земля так велика. Больше вестей от родителей не было, и осталось неизвестным, нашелся мальчик или нет.

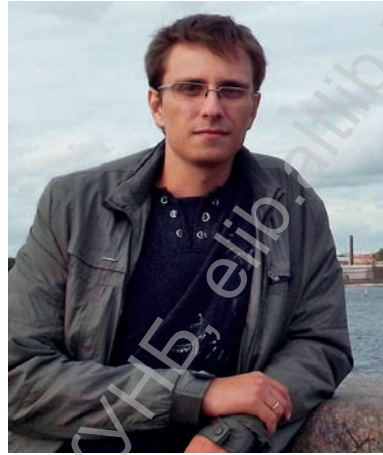
А весной двор снова наполнился детьми, бегавшими и игравшими на его просторе между нежно озеленившимися деревьями, качелями, спортивными площадками и песочницами. Только никто уже не следил за их играми с такой заинтересованностью, не подскакивал от восторга, не хлопал в ладоши.

Пан-Паныча среди детей не было. И вышедшие на прогулку мамы с колясками, и дворничиха тетя Тоня все ждали появления необыкновенного мальчика. Как ждут чего-то мимолетно-радостного, что скрашивает нашу жизнь — или прошелестевшего в молодой листве ветра, или быстрого теплого дождя в сопровождении весело грохочущего в голубом небе весеннего грома.

Но имя Пан-Паныча сохранилось в разговорах. А то вдруг раздастся где-нибудь веселый смех, разольется трелью велосипедный звонок, прилетит с полей любопытная синица и просвистит коротко на своем птичьем языке — и все слышится в этих случайных звуках: Пан-Паныч, Пан-Паныч...

Анатолий Бимаев

Родился в 1987 году в пос. Солнечный Красноярского края. Окончил юридический факультет Хакасского государственного университета, учится в аспирантуре на филологическом факультете. Публиковался в журналах «Нева», «Сибирские огни», в альманахе «Пролог». Живет в Санкт-Петербурге.



ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Они жили втроем: Петя, мама и золотая рыбка. Маме было уже тридцать лет, она была совсем старой. Пете исполнилось восемь, тоже вполне себе внушительный возраст, а золотой рыбке только шел второй годик, она была еще маленькой, и, честно признаться, когда Петя увидел ее в первый раз в свой день рождения, он немало смутился такому подарку, не понимая, что ему теперь делать с золотой рыбкой, и на кой ляд ему такая обуза.

Но по прошествии нескольких дней Петя переменял свое мнение. Рыбка была очень красивой и занимательной, и любознательный Петя нашел удовольствие в наблюдениях за питомицей, которая, важно надувшись, все равно что какая-нибудь королева, неторопливо курсировала от одного конца аквариума до другого, будто осматривая свое царство. При этом вид золотой рыбки был настолько серьезен и основателен, что и вправду казалось, она занята нешуточным делом, от успеха которого могут зависеть многие судьбы, и даже его, Петина, жизнь, что, в конечном итоге, внушило мальчику уважение к рыбке, такой крохотной, но уже

озадаченной всеми проблемами мира, решить которые она смело бралась в одиночку.

Понимание же того, что он обладает совсем необычной питомцей, пришло к нему постепенно. Конечно, Пете, как и всякому мальчику его возраста, было известно, что золотые рыбки бывают волшебными. И все-таки поначалу ему попросту не приходила в голову мысль, что такое невероятное чудо, как встреча со сказочным персонажем, исполняющим любые желания, может случиться именно с ним, обыкновенным, ничем не примечательным деревенским парнишкой.

Но вот однажды он заболел. У него был хриплый кашель и насморк, и настолько высокая температура, что Петя не в силах был даже подняться с кровати, уверенный в том, что не сегодня, так завтра его ожидает верная смерть. Он мог судить об этом наверняка, потому что как раз перед самой болезнью школьный учитель сказал на уроке, что от слишком сильного жара человек умирает, и Петя готов был биться сейчас об заклад, что у него именно такой жар, как им говорила женщина.

В мысли о приближавшейся смерти его укрепляла и мрачная обеспокоенность близких, бабушки и родной тетки, которые не отходили от него ни на шаг, подменяя Петину маму, пока она была на работе. И хотя они нагло ввали, уверяя его, что он лишь чуть-чуть приболел и скоро поправится, это не могло сбить мальчика с толку, ведь он был уже совсем взрослым и умел читать по глазам, которые никогда не обманывают. Разумеется, в деле чтения глаз Петя считал себя непревзойденным умельцем, и нисколько не смущаясь тем фактом, что он толком еще не умел различать слова в книжках, смело брался за чтение самых сложных пергаментов человеческих душ, по правде сказать, видя в них решительно все, что приходило в его бедовую голову.

Наконец, устав от мыслей о смерти, Петя забылся тяжелым, сбивчивым сном и во сне ему привиделась рыбка. С тем же серьезным, надменным лицом, с каким обычно решала свои важные рыбьи дела, она сообщила мальчику, что избавит его от болезни, чтобы он никогда не сомневался, что она настоящая королева, и не принимал ее за самозванку.

И действительно, проснувшись под вечер, Петя почувствовал себя лучше, найдя в себе силы подняться и без чьей-либо помощи сходить в туалет. А на следующий день он и вовсе позволил маме себя накормить на удивление вкусным куриным бульоном, который он до болезни ни за что не стал бы и пробовать, предпочитая молоко и хлеб с клубничным вареньем, излюбленный рацион маленьких сорванцов, которым все время некогда и которые, будь на то их детская воля, верно бы и кушали стоя, а то и на бегу.

После этого случая Петя не сомневался, что его рыбка исполняет желания. Целыми днями он ходил ошарашенный, не замечая ни ночи, ни дня, снедаемый тайной своего всемогущества. Будто чужой человек, самовлюбленный и гордый, нахально вселившийся в голову, внутренний голос внушал мальчику такие мерзкие вещи, что подчас он смущался, слушая их, что, однако, ничуть не мешало втайне с ними всегда соглашаться, не имея сил противостоять искушению.

Каждый день, просыпаясь, Петя загадывал очередное желание, а когда желаний не находилось, начинал мучительно их искать, лихорадочно роаясь в воображении. И нужно признаться, оно никогда его не подводило, рано ли поздно ли, но обязательно выручая мальчика какой-нибудь новой, всецело им завладевавшей мечтой, не дававшей больше покоя до тех самых пор, пока рыбка ее не исполняла.

За несколько месяцев, что прошли со дня открытия Петей волшебных свойств золотой рыбки, он пожелал решительно все, что только мог пожелать восьмилетний мальчишка. Первым делом он захотел никогда не болеть, и действительно это исполнилось в точности. Потом он просил о каникулах и о весне, просил, чтобы мама его не ругала, и о прочем другом в этом роде, что непременно сбывалось, иногда сразу, иногда нет, но всегда именно так, как ему того и хотелось.

Вскоре его желания стали более конкретными и, как не покажется это странно, в них все меньше и меньше оставалось места для кого-то другого, будь то бабушка, мама или в целом деревня со всеми людьми, составлявшими ближайший круг Петиних интересов. Отныне он просил у рыбки удочку, новые снасти и совсем маленький складной ножик, который он, как на грех,

подсмотрел у одноклассника Мити во время игры в казаков-разбойников. Он мечтал о футбольном мяче и кроссовках, о лыжах и о коньках, и все это, в отличие от весны, каникул и солнышка, не могло принадлежать сразу нескольким людям, разве лишь по отдельности, что делало Петю завистливым, обособляло от окружающих.

Теперь, когда исполнение желаний запаздывало, и мальчик не получал в срок того, о чем просил рыбку, он, не имея терпения ждать слишком долго, страстно желал каждому человеку, кто обладал вожаемым предметом, скорее его потерять, чтобы хотя бы не чувствовать злости, день ото дня становившейся острее и нестерпимее. И так как желал Петя до неприличия много, то, в конце концов, зависть распространилась на всех людей без исключения, вынуждая его ощущать темную радость к чужим неудачам и огорчаться посторонним успехам и счастью.

Рыбку он и вовсе порой ненавидел. Пользуясь тем, что она находилась в его полной власти, он жестоко наказывал ее за нерадивость, надеясь, если не уговорами, то грубой силой заставить исполнять все желания, отказаться от которых теперь, как чувствовал Петя, он уже ни за что бы не смог. Мальчик по несколько дней морил рыбку голодом, нарочно забывал поменять воду в аквариуме или же оставлял лампу, висевшую над водной тюрьмой своей пленницы, включенной всю ночь напролет, тем самым пытаясь лишить ее сна. Но ни что из этого, как правило, не помогало: рыбка оказалась крепким орешком и явно не желала сдаваться. С завидным мужеством она терпела все издевательства мальчика, своим невозмутимым, царственным видом как бы давая Пете понять, что она его презирает и совсем не боится.

Наконец мальчик решил выдвинуть пленнице ультиматум.

Усевшись напротив аквариума на плетеную табуретку, специально для этого случая принесенную им из кухни, он торжественно объявил, положив руку на сердце, как того требовали обстоятельства:

— Клянусь перестать тебя мучить, как только я получу велосипед, такой же, как у Васи Трещёткина. Обещаю, больше у тебя ничего не просить и немедленно выпустить на свободу к остальным рыбкам в Черную речку.

И Петя замолк на мгновение, наблюдая за произведенным его словами эффектом. Рыбка медленно плавала у самой поверхности мутной воды, то и дело широко раскрывая рот, словно хватая им воздух, и, казалось, даже не слышала своего экзекутора.

— Но если ты не исполнишь это желание, — продолжал грозно мальчик, подражая героям излюбленных фильмов, — тогда «аста ла виста»! — сказал важно он, имея в виду нечто ужасное. — Так что хорошенько подумай об этом, если, конечно, ты дорожишь своей жизнью.

Озвучив нехитрые пункты ультиматума, Петя тотчас же успокоился, понимая, что против такой очевидной угрозы не устоять даже золотой рылке. И, считая дело улаженным, он почувствовал себя так, будто велосипед уже стоит у него во дворе. Насвистывая под нос мотив какой-то веселенькой песенки он, исполняя свою часть обязательств, почистил аквариум, поменял воду и накормил бедную пленницу, все это время представляя в уме, как быстрой самого ветра промчится по деревне на новеньком велосипеде, а Вася Трещёткин, его ненавистный сосед, увидев эту картину, сдохнет от бешенства.

Две недели, последовавшие вслед за этим, прошли для мальчика точно во сне. Он только и делал что воображал свое будущее, неразрывно связанное с велосипедом. Вся жизнь, все ее повседневные радости, все заботы виделись Пете теперь в каком-то новом, особенном свете, воскрешавшем былую их новизну. На велосипеде он ездил на речку, ходил за коровами и в магазин, что превращало эти занятия из обыденных, порядком наскучивших дел в увлекательные приключения. Сколько всего он теперь мог пережить заново, сколько всего испытать, сколько сделать новых открытий, там, где все казалось безнадежно известным и скучным! И все это благодаря обладанию одной единственной вещью!

В мечтах о близком счастливом будущем он даже забыл про ход времени, не задаваясь вполне справедливым вопросом, когда же наконец-то осуществится желаемое, словно это было не так уж и важно по сравнению с той великой мечтой, открывшейся вдруг перед ним. Красота фантазийной реальности была столь ослепительной, и так легко поддавалась всем малейшим движениям Петиной мысли, принимая любую необходимую форму,

что в какой-то момент она стала самодостаточной, безболезненно перенося несоответствие действительности.

И все же, когда однажды в окно их с мамой дома, выходявшее в палисадник, кто-то неожиданно постучался, Петино сердце тотчас мучительно сжалось в предощущении чуда. В один прыжок он очутился возле высокой плотной гардины, откуда слышался стук неизвестного, и, отдернув ее, с нетерпением взглянул за окно. Снаружи стоял невысокий коренастый мужчина с обросшим щетиной лицом, в котором Петя с испугом узнал родного отца. Отец что-то кричал, жестикулируя, прося мальчика выйти на улицу.

— Мама, — позвал громко Петя. — Батя приехал.

— Что, сынок? Я не слышу, — переспросила та из другой комнаты.

— Я говорю, батя приехал, — повторил мальчик. И трудно было сказать, чего больше слышалось в его голосе в этот момент: разочарования или тревоги. — Мама, он опять пьяный! — добавил Петя мгновение спустя, еще раз взглянув на стоявшего в палисаднике человека.

В следующий миг мама вошла в комнату и, придерживая одной рукой не завязанный на талии халат, а другой — убирая упавшую на глаза челку, подошла спешно к окну.

— Мама, зачем он приехал? Скажи ему, пусть уезжает.

— Уедет, как миленький. Куда он денется, твой папаша? — ответила недовольная мать. — Я только спрошу, что ему нужно, а то он не успокоится. А ты жди меня здесь, пока я тебя не позову.

И она вышла на улицу, а мальчик остался один, жадно прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Вот заскрипела, отворяясь, калитка, и Петя услышал родительские голоса. И хотя разобрать, о чем именно говорили взрослые, Петя не мог, однако смысл разговора понять было нетрудно. Отец хотел войти в дом, а мать его не пускала, отчего он кричал на нее и сердился.

Наконец ругань стихла, и к своему ужасу Петя услышал, как мама зовет его выйти на улицу. Такого предательства с ее стороны он никак не ожидал, но спастись бегством уже было поздно.

— Ну и где это ты пропадал, спиногрыз? — спросил отец мальчика, когда тот вышел из дома. — Совсем, что ли, батю забыл? Без родного отца, значит, лучше живется?

— Перестань, Витя! — попросила усталая мама.

— А ты молчи. Я с тобой не разговариваю, — пошатнувшись, огрызнулся отец. — Ну, и долго ты так будешь стоять? — вновь обратился он к сыну. — Подошел бы хоть, батю, что ли, обнял после разлуки.

Отец стоял, опершись рукой о поленницу, расставив широко ноги, и мутными, воспаленными с похмелья глазами недобро смотрел на мальчишку, отчего Петя никак не решался сдвинуться с места, словно парализованный этим взглядом.

— Кому говорят! Или ремня захотел схлопотать?

— Ну, подойди к нему, Петя, сыночек. Это он только шутит. Не бойся, — заверила мальчика мама, все также придерживая рукою халат, чтобы он не распахнулся от легкого ветра.

— А ты почему знаешь, дура, шучу я или нет? — рассмеялся отец, хорошо знакомым Пете злым смехом, которым он имел привычку заходиться, как казалось, в самый для этого неподходящий момент, точно смеясь над какой-то невысказанной им шуткой. — Захочу, и кто меня остановит? Ты что ли, женщина?

— Найдется кому. Не одна живу я в деревне, — ответила мать.

— Ой-ой-ой, тоже нашлась мне прынцесса. Да кому ты нужна, тебя защищать. Моя семья, что хочу, то и делаю с вами, понятно? — сказал ей мужчина, и харкнул на поленницу. — Ну что ты заснул, что ли, Петька? Долго я буду стоять?

Подойдя неохотно к отцу, Петя опустил голову, уставившись на его грязные сапоги, тяжело, словно две неподвижные колонны, попиравшие мутную лужу, оставленную вчерашним дождем.

— Ну и вымахал ты, спиногрыз! Скоро мне с тобой не справиться. Скажу что-нибудь поперек, а ты сразу в дыню за все хорошее, — сказал отец сыну, опять засмеявшись своим неожиданным смехом.

— Будешь приезжать к нему пьяным, так и вправду скоро получишь, — заметила мать.

— Замолкни, я с сыном беседую, — огрызнулся отец. Опустив руку на голову мальчика, он потрепал его по волосам, вызвав в Пете целую бурю молчаливого негодования. — Ты рожу-то сделай попроще, пока я ее тебе не поправил, — дыхнул на сына отец удушливым запахом спирта и сигарет, продолжая трепать, как со-

баку. — Не кривись, я сказал, — прикрикнул он, и залепил мальчику подзатыльник.

— Мама! — воскликнул Петя.

— Что мама? А ну не реветь, сосунок!

— Я не сосунок, — сдерживая побежавшие было слезы, ответил мальчишка.

— А кто ж ты тогда? Ревешь, как девчонка.

— Я не девчонка! — выпятив грудь, крикнул он.

— Так-то лучше, — похвалил отец сына. — И рожу, я сказал, не криви! — снова ударил он мальчика по затылку.

На этот раз Петя перенес затрепину стойко. Расправив плечи, он устремил на отца немигающий взгляд исподлобья, хрипло сопя, точно маленький зверь. Взглянув на них в этот миг можно было лишь подивиться тому, как сильно они походили один на другого. Оба приземистые, сутуловатые с широко расставленными ногами по сторонам, они напоминали двух рассвирепевших бычков, готовых вот-вот кинуться друг на друга.

— Так-то лучше, — похвалил снова отец. — А то разверещался, как голодный галчонок, — произнес он, и опять засмеялся над собственной шуткой. — А я ведь, между прочим, не просто так сегодня приперся из города. Если хочешь знать, у меня для тебя есть подарок.

— Спасибо, — все еще хрипло сопя, сказал Петя.

— Да ты подожди еще благодарить-то. Я ведь пока ничего не подарил.

— Как скажешь, — равнодушно пожал мальчик плечами.

— Ну-ка, пойдём. Я его сейчас тебе покажу. Он ждет за оградой.

И отец вывел Петю наружу. Чуть вдалеке на обочине сырой, раскисшей дороги, по обеим сторонам которой тянулись деревенские одноэтажные домики с палисадниками и ржавыми черепичными крышами, стояли незнакомые «Жигули» желто-белого цвета с открытым багажником, откуда торчало огромное хромированное колесо новенького велосипеда.

— Эй, Жгут, — свистнул отец. — Доставай наш подарок.

В тот же миг показался высокий худой человек в спортивных штанах и футболке неопределенных оттенков и засуетился возле машины, пытаясь распутать веревку, протянутую от капота до заднего бампера.

— Ну что ты там возишься? — прикрикнул отец на приятеля, подходя к нему с сыном. Он шел, засунув руки в карманы, дымя сигаретой в зубах, а мальчик плелся за ним, как на привязи.

— Узел, блин, тугой. Никак не развяжется.

— Это руки у тебя не оттуда растут, а не узел, — сказал отец, взглянув на веревку. — Ну-ка, дай-ка попробую, — отстраняя Жгута, произнес он. — А то ты так до вечера будешь возиться.

— Да, пожалуйста, ваше высочество, — ответил приятель.

Руки у отца были большими и пухлыми, как у утопленника, сплошь в каких-то шрамах и ссадинах, в черных мазутных пятнах. Каким же было удивление Пети, когда эти самые руки, казавшиеся такими неловкими и больными, вдруг с проворностью фокусника стали развязывать крошечный узел величиной не больше горошины.

— Держи, спиногрыз, свою серебряную пулю, — добродушно сказал отец, доставая из багажника велосипед.

Это был велосипед одной из последних моделей с карбоновой рамой и восемью скоростями, именно такого цвета, как хотел Петя, но ожидаемой радости он не почувствовал. Ему досаждала обида и злость, и какое-то неуместное чувство тоски, будто все случилось не так, как должно было быть.

— Ну что ж ты стоишь, не опробуешь свою пулю? Удиви-ка папашу каким-нибудь трюком.

— Ага, как-никак в такую даль тащили эту хреновину, — устало вздохнув, сказал Жгут.

— Сам ты хреновина! А этот велосипед — чудо современной инжиниринговой мысли, — ответил отец, произнеся последние три слова почти по слогам, выставив в небо указательный палец. — Во как. Понял меня? — спросил он, опять засмеявшись.

— Понял, что в тебе продавец-консультант умирает.

— Сам ты у меня скоро умрешь, — отмахнулся отец от Жгута. — А во мне здоровья на десять быков. Вон какие ручищи, не то что твои плети, — сказал он, показав Жгуту мускулистые руки, и повернулся к мальчишке. — Ну же, Петька, давай прокапись, а я погляжу.

Мальчик сел на велосипед и, оттолкнувшись, покатился по грязи.

— Осторожней только! — воскликнула мама, все это время молча стоявшая у калитки.

— Молчи, баба. Делаешь из мужика барышню, — рявкнул Витя в ответ. — Один хрен ниже земли не провалится.

— Это верно, — подтвердил Жгут. — А земля-то она вон, нынче мягкая.

— Вот именно, — не поняв, серьезно тот или смеется, повернулся Витя к приятелю, смерив его недоверчивым взглядом, но уже через секунду вновь смотрел на мальчишку. По беспокойным вздохам и бормотанию было ясно, что он хоть и по-своему, но переживал за своего сына.

— Эй, выворачивай на дорогу. Слышишь? — закричал он ему.

— Что? — раздраженно воскликнул Петя, не повернувшись к отцу.

— Я говорю, выворачивай на дорогу. Там суше.

— Не хочу, — ответил мальчишка.

— Петька, кому говорят! Выворачивай живо.

И снова нехотя сын подчинился, свернув на дорогу.

— Эх, один хрен не проедет, — сказал Витя Жгуту сокрушенно. — Грязь по самые ступицы.

— Да, сюда б вездеход в самый раз, как в прошлый раз на заимке.

— Ничего, мой сын справится, — гордо заявил Витя. — Не пальцем все-таки деланный. — И глядя, как Петька на всем ходу форсирует огромную лужу, спросил: — Что у нас, кстати, там по припасам?

— По припасам полный порядок. Полдеревни хватит спойть.

— Давай начисли мне фронтовые для храбрости. Пойду брать старую крепость. — И он недвусмысленно взглянул на жену.

— Будет сделано, — вздохнув, сказал Жгут.

Достав из машины наполовину початую бутылку водки, он подал ее Вите, и тот, отвинтив крышку, жадно отпил из горла. Привычно занюхав крепкий напиток ладонью, Витя с усилием выдохнул и, скривившись лицом, произнес:

— До чего же водка пошла нынче невкусная. Аж слезу выбивает.

— А пьешь с аппетитом, — заметил Жгут, принимая бутылку обратно.

— Ничего, погоди малость, скоро поедем.

— Я вот как раз про то и подумал. Не задержаться б нам здесь. А то ты уйдешь сейчас — и с концами.

— Окстись, — отмахнулся мужчина и, выпятив грудь, пошел вперед нетвердой походкой.

Старая крепость оказалась не такой уж и неприступной, или Витя просто знал тайный ход, но через пару минут он уже громко смеялся с женой, рассказывая ей какую-то шутку, и Петя, круживший неподалеку, то и дело бросал на них тревожные взгляды.

Наконец отец крикнул:

— Эй, байкер. Давай скорее домой.

— Не хочу, — обернувшись, сказал Петя, привстав над седлом велосипеда.

— Что значит — не хочешь! Давай без разговоров.

— Я только еще пять минут, — канючил мальчишка, который, оправившись от приезда отца, уже начинал себя чувствовать полноправным владельцем двухколесного чуда.

— Дуй сюда, говорят. Будем чай пить. Я привез торт.

— Не хочу, — повторил Петя, и медленно поехал вперед, все время оглядываясь, точно боясь, что за ним побегут.

— Ты что же, торта не хочешь, что ли, гаденыш?

— Нет, — сказал Петя, удаляясь от дома.

— Так, — сделал вперед один шаг, со злостью закричал отец, — а ну-ка, живо назад! Иначе я тебе больше ни черта не куплю. Можешь быть в этом уверен. Помяни мое слово.

Петя молча катился вперед, склонив голову, словно в раздумье.

— Никаких тебе больше велосипедов, ты слышишь? Никаких подарков на день рождения и Новый год. — Отец кричал, грозно махая руками вслед мальчику. — Вот, значит, твоя благодарность отцу за все хорошее!

— Витя, пойдем уже в дом. Он скоро вернется, — сказала жена.

— Молчи, баба. Нет, чтобы научить сына отца любить. Так ты ему еще и потакаешь.

— Он ведь ребенок совсем, — продолжала успокаивать женщина.

— Да какой он ребенок? Я в его возрасте пахал от зари до зари, а он, понимаешь ли, на велосипеде катается. И не было у меня такого отца, который бы делал дорогие подарки.

В этот момент мальчик неожиданно развернулся, на что-то решившись. Быстро подъехав к отцу, он спрыгнул с велосипеда, едва успев остановиться, и стремительным шагом направился в дом, даже не обратив внимания на то, что, лишившись своего седока, его серебряная пуля упала на землю.

— А ну-ка, вернись и поднял велосипед, — приказал отец сыну.

— Сам подымай, — ответил мальчишка.

— Ах, вот, значит, как ты, гаденыш! Ну держись у меня, — произнес мрачно отец, направившись в дом.

— Нет, Витя, не надо! — попыталась преградить ему дорогу жена, но он ее оттолкнул.

— Пошла вон. Я научу его уважать старших.

Дальнейшее было ужасно. Отыскав Петю в детской комнате, отец снял со штанов страшный черный ремень и, схватив сына за воротник, принялся с пьяным остервенением стегать его всюду, куда только ложилась рука: по спине, по заднице, по ногам, очень скоро превратив тело мальчика в один сплошной, истерзанный комок боли, пульсирующий обжигающим пламенем ссадин. Хотелось заплакать, но слез не было, будто их выжгло страдание, и Петя только жалобно вскрикивал под каждым ударом.

— А теперь подумай над своим поведением, — сказал, задыхаясь, отец и, бросив мальчика на кровать, удалился.

Петя пришел в себя только под вечер. Весь день он пробыв у себя в комнате, строя коварные планы отмщения, но ничего придумать не мог. Сначала ему пришла в голову мысль бежать из дома, но, расценив, что такой шаг навряд ли расстроит отца, он отказался от этой затеи. Затем Петя решил подбросить отцу в сапоги куст крапивы, но тоже был вынужден отступить от этого плана, вспомнив, что крапива будет еще только летом.

И так он переходил от одного проекта к другому, в конце концов, забраковав каждый, поскольку одни, по его разумению, были слишком просты и неэффективны, а другие было бы сложно исполнить. Но и забыть о причиненной обиде Петя не мог. Масло в огонь лишь подливало присутствие отца. По какой-то непонятной причине он все не покидал их жилища, нагло обосновавшись на кухне, и самое страшное, мама была рядом с ним, заодно, словно в сговоре. Петя явственно слышал их голоса, и даже смех, что де-

лало его ненависть только острее, поскольку теперь к ней добавлялась еще и ревность, которую не могли унять редкие визиты мамы, проводывавшей мальчика.

А ближе к вечеру Петя вовсе лишился надежды. Приятель отца, привезший его на машине в деревню, уехал, и отец остался с мамой один, без сомнения, намереваясь пробыть у них до утра.

Возмущению мальчика, казалось, не будет конца, невозможность что-либо сделать доводила его до безумия. Но тут он вспомнил о золотой рыбке, своей вечной пленнице, которая, разумеется, не откажет ему исполнить еще одно небольшое желание. О каком именно желании Петя хотел ее попросить, он сейчас сказать бы точно не смог, поскольку стоило только ему подумать о нем, как его образ тотчас же убежал из-под цепкого взора сознания, словно преступник от сыщика.

Вскоре родители ушли в спальню, и Петя перевел дух в ожидании минуты, когда отец захрапит, чтобы, не боясь быть услышанным, подойти к золотой рыбке. Но вместо этого из соседней комнаты послышалось нечто ужасное. Вероятно, отец разозлился за что-то на маму, и теперь мучил ее, совершая над ней какие-то страшные действия, от которых она стонала и вскрикивала.

Первой же мыслью мальчика было немедленно броситься к маме на помощь. Но малодушие его остановило. Он все еще помнил трепку отца, и это делало его благоразумней. Скрепя сердце Петя поборол свой порыв, решив действовать по изначальному плану, который теперь, когда отец покусился на маму, становился еще безжалостней.

И вот наконец-то все успокоилось. Петя слышал громкий с присвистом храп отца, и почему-то злился на него еще больше. Надеясь, что этот храп оборвется сию же минуту, лишь он попросит об этом рыбку, мальчик, встав на колени перед аквариумом, стал жадно молить ее, чтобы отец умер, и уже никогда к ним не приезжал. Он просил рыбку о самом ужасном, что только можно было придумать, называя ее нежными именами, то милой волшебницей, то доброю феей, заклиная позабыть прошлое, и по его опухшим от детского горя щекам бежали крупные слезы.

Молитвенный порыв мальчика остановила усталость. Почувствовав себя опустошенным, Петя лег на кровать, не сомнева-

ясь, что сразу уснет. Но сон почему-то не приходил. Сначала он просто ворочался, не находя себе места, то сражаясь со ставшей вдруг неудобной периной, то с как будто уменьшившимся размерами одеялом, из-под которого ноги так и норовили вылезть наружу. Но потом Петей овладела тревога. Казалось, будто случилось что-то плохое и гадкое, что-то, о чем он давно позабыл, но что, тем не менее, продолжало его беспокоить. Постепенно мысли об этом чем-то забытом, неясном неуловимо переключились на впечатления сегодняшних суток, отчего тревога усилилась. О сне теперь не могло быть и речи. Одно за другим Петя вспоминал происшествия ушедшего дня, пытаясь их тщетно осмыслить и, наконец-то, найти причину своего беспокойства.

Не мог же он сожалеть о загаданном?

Этот вопрос Петя задавал себе снова и снова, и каждый раз отвечал на него отрицательно. Но отринуть сомнения не получалось. словно чертик из табакерки, мысль о сделанной им непоправимой ошибке возникала перед взбудораженным сознанием мальчика с навязчивым постоянством, вынуждая перед кем-то оправдываться. И хотя это сделать было как будто также легко, как в момент самого преступления, его обвинитель, та незримая личность, что молча ждала объяснений, никак не хотела их принимать.

Так прошла ночь. Только под утро мальчик заснул. Когда ж он проснулся, перед ним вдруг со всей очевидностью, уже без загадок и полутонов, предстал ужасный истинный смысл совершенного. Подскочив с кровати, словно ошпаренный, он обежал все комнаты дома в поисках бати, проверяя даже шкафы и за шторами, но того нигде не было.

Наконец, Петя ворвался на кухню. За столом сидели родители и не спеша пили чай.

— Чего носишься, как угорелый? — спросил отец как ни в чем не бывало.

Мальчик так и застыл на пороге, не веря глазам.

— Марш руки мыть — и за стол. На рыбалку пойдем после завтрака.

Внезапные слезы раскаяния и радости затуманили Пете глаза. Едва держась на ногах, он то ли бросился, то ли упал к отцу на колени, уткнувшись лицом ему в грудь.

— Ну что ты? — похлопал его отец по плечу. — Из-за вчерашнего, что ли, так убиваешься?

— Нет, — промычал Петя, замотав головой.

— Ты, давай, это брось, понял меня? Все-таки не хрустальный, ничего с тобой от двух тумачков не случится. Лучше уж я тебя воспитаю сейчас, чем потом за меня это сделает жизнь.

Помолчав с секунду, Петя спросил:

— Батя, а как мы пойдем, ведь вода коренная?

— А-а-а... Так мы с тобой поедем на озеро. Только бы мотоцикл мой не подвел.

— Да. А на какое? — встрепенулся мальчишка.

— Вишь какой. Все нужно знать. Мой, давай, руки. После поговорим.

— Я сейчас, мигом, — спешно вытирая лицо, сказал Петя.

В следующее мгновение мальчик выбежал в коридор и хотел уже было бежать к рукомойнику, но, вздрогнув, остановился. Обернувшись с опаской назад, не смотря ли на него взрослые, он на цыпочках прокрался в детскую комнату, и, взяв лежавший возле аквариума сачок, принялся ловить волшебную рыбку.

— Ну где ты там? Заблудился, что ли? — крикнул из кухни отец.

— Нет, я сейчас, только надену футболку, — нашелся Петя.

Поймав рыбку ловким движением сачка, он, не раздумывая, бросил ее на ковер, на верную гибель, чтобы она никогда не смогла исполнить его последнего желания.



Василий Морозов

Родился на Алтае. Более двадцати лет служил в Военно-воздушных войсках РФ. Автор девяти книг. За повесть «Перехватчики» и цикл рассказов о военных летчиках награжден грамотой Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России (2016), за книгу «Огромное небо» (2011) о космонавте Г.С. Титове — Почетной грамотой Администрации Алтайского края.

ВОРОТНИК

Петру Груздеву по утрам вменялось в обязанность ухаживать за курами. Так они решили с женой. Пока Галина провозжала в стадо Буренку, Петр в это время ставил в ограде три противня с зерном. Две старые сковороды наполнял водой, после чего в курятнике открывал дверь и выпускал птицу, которая с разбегу набрасывалась на корм. Петр не жалел пшеницы. Пусть клюют — тешатся. Набирают в весе. Бройлеры хорошо растут. Не по дням, а по часам. Груздев мысленно благодарил того, кто придумал такую мясную породу.

Жена тоже довольна. Чего быть недовольной, когда уход, по сравнению с другой птицей, с теми же гусями или утками, небольшой, а мяса на зиму почти столько же выходит. Не только себе, но и дочери с сыном в город хватает.

В это утро Петр не предвидел каких-либо перемен в своем хозяйстве. Но они произошли. Когда куры из сарая выбежали во двор, Петру показалось, что их мало. Он бы не обратил на это внимание, если бы второй петух выскочил. Его-то как раз и не хва-

тало. С ярким окрасом, он всегда был заметен. А тут не показался. У Петра и Галины он на особом счету. Старого петуха, который с годами обленился кур топтать, хотели заменить молодым. У него для этого все задатки быть хозяином курятника. Хоть и молодой, но нет-нет, а делал попытки на курочек прыгать. Правда, с кукареканьем не всегда вовремя получалось. Иногда путал день с ночью. Но голос имел звонкий и красивый. Лучше чем у старого, у которого он учился, как курочек пасти, держать их под контролем. Как для них червячков искать.

Предчувствуя недоброе, Петр зашел в курятник. От удивленного ноги подкосились. На полу лежало двенадцать курочек. А среди них и молодой петушок. Рядком лежали, словно спали. Петушок с приоткрытым клювом. Словно хотел кукарекнуть, но не успел. Смерть его так и настигла.

За всю жизнь такого не случалось. Ну, бывало, терялась одна курица. Да еще цыплята. То коршун своими огромными когтями сцапает, то крыса утащит. Но такое! И главное, что Петру бросилось в глаза: не было внешних повреждений. Петр, сидя на коленях, брал поочередно в руки каждую из курочек и внимательно осматривал: на шеях капли крови.

Петр вышел из подворья и сел на лавку возле палисадника. Вытащил из кармана куртки сигарету, закурил, продолжая осмысливать случившееся. Достал еще одну. Раньше с ним такого не было, курил редко и без особого желания, как он говорил Галине: «Для приличия. Чтобы походить на мужика».

Из соседнего дома вышла Екатерина, шустрая женщина, чернявая, словно цыганка. По молодости она нравилась Петру, дело прошлое. Рано разошлась с мужем, и все хозяйство взвалила на свои плечи, держала скотину, имела небольшой огород.

Подойдя к поленнице, чтобы набрать охапку дров для бани, поздоровалась с Петром:

— Ты что сидишь, как обухом огретый?

Труздев промолчал на шутку. Не до этого было. Он поманил Екатерину пальцем:

— Подойди сюда. Увидишь...

Перевернув несколько кур, та сделала вывод: «Это хорек или колонок натворил. Любят эти зверьки полакомиться кровью».

Петр не знал, как об этом сказать жене. Узнает — сильно расстроится. Петушок ей очень нравился. Часто повторяла: «Таких красивых я еще не видела. Хоть бери кисть и картину с него рисуй».

Петр, не разуваясь, вошел в дом. Молча сел на лавку рядом с бочком воды. Галина на кухонном столе стряпала беляши. Одна партия со сковороды была снята и дожидалась мужа. Ловко работая руками, Галина мяла тесто.

— Чего обутый-то зашел, — упрекнула она мужа. — Иди, разуйся, да садись к столу, пока все горячее.

Беляши Петр любил. Особенно с молоком. Когда Галина была в настроении, она всегда их жарила. Когда нет, то муж обходился тем, что находил в холодильнике.

— Что-то не хочется есть, — проговорил Петр со вздохом, не зная с чего начать разговор.

— Садись, пока горячие, — повторила она. — Зачем соседка приходила?

Петр отвел глаза в сторону, словно в чем-то был виноват перед женой.

— Ты знаешь, что у нас нет больше молодого петушка, — сказал он с грустью.

— Как нет? — насторожилась Галя, прекратив работу. — Где же он?

— Нет больше, — повторил Петр. — Его и двенадцати курочек. Какой-то зверек задушил.

Отложив дела, Галина как была в кухонном фартуке, так и выскочила на крыльцо. Надела глубокие галоши и выбежала во двор, где оставшиеся куры спокойно клевали из противней зерно. Петр вышел за ней.

Оглядев курей, Галина не увидела петушка. Подняла на Петра глаза, спросила:

— Где он?

— Там, — кивнул муж бородой на курятник и первым направился к нему. Галина поспешила следом.

Увидев кур и петушка, она заплакала-запричитала:

— За что ж на нас такое горюшко навалилось? Сколько труда в вас было вложено, и все пошло прахом.

— Зверек задавил, — снова пояснил Петр.

— Какой зверек? — уставилась она на мужа.

— Я почему знаю, — ответил Петр. — Установить придется. Если б хоть одну задушил да съел. А то ведь кровь только высосал!

— Как высосал? — сузила Галина глаза.

— Так. — И Петру пришлось показать капельки крови на шеях птиц. Достал петушка. Галина прижала его к груди. Поглаживая, запричитала:

— Как же так, Петя? Кто же теперь будить станет?

Муж успокаивал, как мог:

— Старый разбудит.

— Старый так не сможет, — тихо произнесла Галина. — У него голос от времени подсел. Не всегда услышишь.

— Другого на замену вырастим, — пытался успокоить Петр жену.

— Нет. Такого больше не будет, — Галина гладила петушка по золоченым крыльям.

Чтобы зверек не порешил оставшуюся птицу, Петр устроил на него охоту. Задумал взять живьем. В большой металлической клетке, в которой весной держал цыплят, он сделал небольшую дверь-ловушку. Только зверек окажется по ту сторону клетки, дверь вмиг захлопнется. Обратного выхода нет.

Капканы он ставить не захотел по той причине, что в них мог попасть свой рыжий кот Васька. Или соседская кошка Василиса, которая иногда приходила к Ваське в гости. Капкан он и есть капкан. Если резко щелкнет, то и вовсе может отсечь лапу. А ловушка — другое дело. Будет держать зверька до тех пор, пока хозяин не вытащит. Целехоньким и невредимым.

Клетку-ловушку Петр установил с тыльной стороны сарая, что выходила к озеру, заросшему по берегам мелким кустарником и травой.

Механизм двери-ловушки взвел на ночь. Днем самый дурной зверек не полезет в пустой курятник. К тому же днем и народ ходит. А ночь — самое подходящее время для охоты. Об этом каждый зверь знает.

Внутри клетки Петр пристроил дощечку на растяжках, на нее положил несколько пескарей и колбасу для запаха. Рыбу сачком ловил по другую сторону дамбы, что регулировала уровень воды в озере.

Спать Петр лег на веранде. На тот случай, если зверек попадет-ся в ловушку, а хуже того проникнет к курицам и устроит там погром, то можно сразу выскочить. Лег не раздеваясь, в трико и футболке. Несколько раз вставал за ночь. Курил на крыльце. Глядел на свой двор при луне. Пытался заснуть, но не получалось. Так и мучился до утра.

Вторая ночь прошла в таком же режиме.

— Пока не проголодается, вряд ли придет, — сделала вывод Галина. — А может и вовсе не появится... Звери тоже понимают.

— Может, и понимают, — согласился Петр, но спать продолжал на веранде.

Он уже не надеялся на удачу, как на третье утро подошел к клетке и глазам своим не поверил. Забившись в угол, в ней сидел темно-коричневый незнакомец с быстро бегающими злыми глазами. Груздев присел на корточки, чтобы лучше его рассмотреть, но зверек угрожающе фыркнул и, словно сжатая пружина, резко кинулся на человека. Благо, сетка удержала. А так бы когтями вцепился в лицо Груздеву, который от неожиданности упал на спину. Поднялся. Отряхнулся и посмотрел на зверька, застывшего в напряженном состоянии и готового снова броситься на него.

Но каков красавец! Вытянутое туловище. Пытливые глаза, которые реагировали на каждое движение Груздева. Какое-то время Петр стоял и любовался им. А пленник продолжал изучать его, чувствуя, может быть, что дальнейшая судьба зависит от этого человека. Колбаса и рыба лежали на полу не тронутыми.

Петр подошел к ограде соседки и крикнул в открытую дверь сенок:

— Катерина! Выйди на минутку.

Позвал не хвастаться. Она когда-то работала на звероферме и в зверях толк знала.

— Что стряслось? — вытирая руки о фартук, вышла она к калитке.

— Иди, посмотри, какого зверя поймал. Поймать-поймал, а как звать не знаю.

Екатерина увидела зверька, забившегося в угол, и всплеснула руками:

— Воротник сам домой пришел! Норка это! Из самых хороших пород. Ее мех очень ценится. Так что все куриные затраты оправдаются.

— Может и так, но Галине петушка жалко. Ни один в округе так не кукарекал, как наш, — с сожалением произнес Петр.

— И петушка оправдает, — с уверенностью произнесла Екатерина, чем немного успокоила Груздева.

Когда Екатерина ушла, повеселевший Петр зашел в дом и, едва сдерживая радость, сказал жене:

— Пока ты здесь кухонными делами занималась, я тебе хороший воротник поймал!

Приняв разговор за шутку, Галина сказала:

— Не надо мне никаких воротников. Как-нибудь в стареньком прохожу. Мой руки и за стол садись. Я борщ сварила да блинов напекла. Ты их давно просил.

— С обедом подождем. Пойдем со мной, — настойчиво попросил Петр. — Я тебе такой подарок приготовил, ахнешь!

— Это какой же? — желая посмотреть выдумку мужа и следуя за ним, сказала Галина.

— Вот полюбуйся, — произнес Петр, когда подошли к клетке. Увидев зверька, Галина в ярости крикнула:

— Эта тварь наших курочек с петушком извела, — и со злобой ударила кулаком по клетке, отчего пальцы на руке разбила до крови. Унимая боль, подула на них. Когда полегчало, еще раз посмотрела на зверька и спросила:

— Куда его девать? — и, подумав, добавила: — Убей да в кусты за мост выброси. Вороны там быстро с ним разделаются.

— Это норка, — пояснил Петр. — Не просто норка, а зверек самой хорошей породы. Екатерина так сказала. Если до зимы покормить, а по снегу забить ее и пустить шкурой на продажу — большие деньги можно поиметь. Покроются все затраты и на кур, и на петушка.

— На курочек, может, и покроются, — горько вздохнула Галина, — а на петушка нет. Каким он был, таких не сыскать.

С появлением норки хлопот Петру прибавилось. Клетку он перенес в дровяник, под навес, чтобы дождь не мочил и подальше от солнечных лучей. Каждый день с сачком ходил к дамбе на рыбалку. Екатерина дала совет, чем зверя кормить, чтобы мех был хо-

рошим. Большую часть еды составляла рыба, которая норке больше всего нравилась.

Из дикого зверька она превращалась в домашнего.

Когда Петр приносил еду, норка становилась на задние лапки, а передними упиралась о решетку клетки. В знак благодарности смотрела не на чашку с едой, а Петру в глаза, словно хотела по ним распознать — что же он за человек? Галина редко подходила к норке. При воспоминании о загубленных курах с петушком ей становилось плохо, начинала болеть голова и поднималось давление.

Шкурку зверька они решили не продавать, а сделать дочери сюрприз к Новому году. Выделать и вручить воротником к новому пальто.

— Людка обрадуется такому подарку, — мечтала Галина.

— Чего бы не порадоваться? — поддакивал Петр. — Не у каждого такой есть.

— А я и с лисьим похожу, — смирилась жена. — По деревне ходить и этого хватит. Куда мне наряжаться-то?

В середине октября выпал зазимок. Снег полежал несколько дней и растаял. Снова установились сухие дни. Правда, уже прохладные. Осень свое брала, срывала с деревьев оставшиеся листья. Гнала по серому небу на юг клинья журавлей, словно спешила навести в природе порядок и сдать зиме свои полномочия.

Несмотря на перемены в погоде, Петр продолжал ходить на рыбалку. Наловит пескарей, сядет на низкий стульчик у клетки и подает норке рыбешек через крупную ячейку. За последнее время она еще больше привязалась к Петру. Брала корм из его руки. После еды с благодарностью, как ему казалось, смотрела в глаза. Бывало, вытрет лапками рот, свернется колечком на тряпке-подстилке и следит за Петром, пока он не уйдет. Любопытное животное. мех на ней уплотнился и отдавал шелковистым блеском.

Надвигающиеся холода Петра пугали. Галину радовали. Она с нетерпением ждала того дня, когда увидит дочь в новом пальто, с новым норковым воротником.

А Петр привык к зверьку и не хотел с ним расставаться. Часто появлялся у клетки, любясь незваной гостьей. Иногда слезы наворачивались от таких посиделок.

Словно понимая состояние хозяина, норка хитроватыми глазами смотрела на него и как бы успокаивала: «Не волнуйся! Что-нибудь придумаем! Чтобы всем было хорошо».

И однажды Петр придумал. Перегнал зверька из большой клетки в маленькую. Он часто это делал, когда в домике норки наводил порядок. Клетку с норкой поставил в машину на заднее сидение. Зверюшка покрутила головой по сторонам, изучая салон, после чего легла и успокоилась.

Машину трясло на неровной дороге. В страхе норка забилась в угол клетки.

Проехав километров пятнадцать, Груздев свернул на проселочную дорогу, ведущую к реке. Остановился на опушке соснового бора.

Вышел из «Жигулей». Закурил, любуясь зеленым нарядом сосен, которые сейчас смотрелись по-особому ярко, не вписываясь в акварель осенних красок.

Придавив ногой окурок, Петр взял из машины клетку. Отошел с ней в сторону реки. Открыл дверцу и выпустил норку на волю. Она отбежала несколько метров и остановилась, повернувшись в его сторону, словно спрашивала: «Что дальше-то делать?».

Петр смотрел на нее и тихо уговаривал: «Ну, беги! Беги в лес. Там тебе и вода рядом. Мыши и другая живность. Чего тебе в неволе томиться...».

Норка словно не слышала его и с места не тронулась.

Груздев похлопал в ладоши, пытаясь отогнать ее подальше от себя. Норка сделала три длинных прыжка и снова остановилась, продолжая смотреть на него.

Петр еще раз похлопал. Она еще отскочила на несколько метров и опять остановилась. Он быстро сел в машину, отъезжая, не выдержал и оглянулся: зверек стоял в раздумье, среди жухлой травы. Потом сделал несколько прыжков и кинулся догонять машину. Когда «Жигули» выскочили на трассу, Груздев включил повышенную передачу. В зеркале заднего обзора было видно, как норка распласталась, словно летела за машиной. Летела до тех пор, пока не исчезла из вида.

«А воротник мы Людке купим. Подсоберем денег и купим», — думал Груздев, стараясь не смотреть назад.



Валерий Марченко

Окончил исторический факультет Иркутского государственного университета. Работал журналистом в районной газете «Ударник». Печатался в журнале «Алтай». Является автором нескольких книг. Живет в селе Петропавловское Алтайского края.

ПРОДАЖА ДОМА

Семьдесят пятую зиму Борис Степанович Зорин встречал один. Ноябрь, разбаловав людей теплыми солнечными днями, в последней декаде так прихватил землю морозами, что та, растрескавшаяся без дождя, враз впустила холод в свое неприкрытое снегом нутро. День ото дня морозы крепчали, давая понять людям, что не только с летом, но и с осенью игры закончены.

А в конце ноября навалились снега. Зорин, никогда не робевший перед зимой, вдруг почувствовал, как в его душу закрадывается страх перед надвигающейся стужей.

В одну ночь на поселок Капино и его окрестности зима набросила белую шаль, прикрыла стылую, так и не смоченную дождем землю и крыши домов, и постройки, и дороги и все окружавшие поселок поля и растущие в них тополевые лесополосы.

А потом снег падал еще весь день и всю последующую ночь, хотя не так густо, все же навалил по колено.

Зорин вышел на крыльцо и впервые не обрадовался снегу. Бело, тихо и чисто было кругом и еще спал поселок, лишь в редких окнах горел свет. Старик сошел на снег и сразу утонул чуть ли не до ко-

лен. Но надо было идти в стайку — весь инструмент там. Накануне он заходил туда, подержал в руках деревянную для очистки снега лопату, поставил обратно. Сейчас подумал: «Что же не занес ее в сени. Теперь все равно идти за ней».

Оттуда, от стайки, и начал чистить дорожку к дому. Вначале узкую, а потом, когда дошел до крыльца, стал чистить площадку. Мысли сами собой носились в прошлом. В последний зимний день сюда, на эту площадку, женщины поставили две табуретки, а мужики вынесли гроб с его Анной. Это была последняя ее задержка у дома перед тем, как уйти от него навсегда.

Потом ее понесли за ограду и перед тем, как выйти за нее, подняли гроб на руках, чтобы могла она в последний раз взглянуть закрытыми глазами на свое земное, но столь недолговечное пристанище.

Всю прошлую зиму Анна болела, редко вставала с постели. Но и тогда Борису было не в тягость управляться во дворе и готовить обед для жены и себя. После улицы он, заходя в дом, ненадолго открывал дверь, чтобы впустить в комнату, где лежала Анна, прохладу.

Белые клубы торопливо катились через порог, заполняли прихожую, но дальше не проходили, исчезали в комнатном тепле.

— Ну как, Аннушка, чувствуешь зиму, — ласково говорил Борис, заходя в комнату жены и садясь возле кровати на табурет и брал ее слабую руку в свои ладони.

— Хорошо там, наверное, — тихо отвечала она, еле улавливая через его руки зиму.

Он сидел возле нее, пока она не засыпала. От слабости или чтобы не утомлять его возле себя, она через короткое время смеживала веки, начинала дышать ровно, будто во сне.

Он еще какое-то время держал ее ладонь, потом осторожно клал поверх одеяла, шел готовить обед.

Все время, пока Зорин кидал снег, он ощущал в себе какую-то тревогу. А потом разом навалилась усталость. Уже рассвело и по улице пошли люди. Кто-то здоровался со стариком, кто-то проходил мимо, не глядя в его сторону, сосредоточенно протаптывая дорожку в сне-

гу. А вскоре застрекотал трактор, бойко стал чистить перед собой неширокую дорогу, раздвигая в обе стороны белые снежные усы. Потом, смолкнув ненадолго, появился снова, уже на другой стороне.

Борис, дождавшись возвращения трактора, направился в дом. Уже на крыльце вспомнил, что надо было заглянуть в почтовый ящик, решил сделать это потом, когда снова выйдет кидать снег.

Но в избе он пробыл недолго. Здесь, после уличной белизны, все казалось серым. Даже краски на коврах, висевших на стенах, поблекли, и цвета их мало чем отличались один от другого.

Опять навалилась тревога, и он, едва выпив стакан чая, заторопился на улицу. Походя вспомнил, как в сентябре приезжала единственная дочь Лена, которая как-то ненавязчиво и как бы между прочим предложила ему перевести дом на нее.

Ничего предосудительного в этом не было. Жизнь, как ни крути, прошла. Не оформи он дом сегодня, завтра его придется все равно оформлять дочери. Анна вот и моложе его на целых пять лет была, однако Господь забрал ее к себе. Сколько отведено дней ему, не знает никто. Так что дочь права, избу надо оформлять на нее. Она его единственная наследница и любимица. Страшно радовался Борис рождению дочки. Прямо шальной сделался от радости.

Анна рожала тяжело, и после этого врачи категорически запретили иметь детей. Она плакала, хотела родить еще сына, просила у Бориса прощения за ее беспомощность, но тот, любя дочь, уговаривал ее не огорчаться, уверял, что доволен и тем, что она подарила ему такую красавицу. А уж как он счастлив, что в его жизни есть она, Анна, даже слов не хватает высказать ей все.

Леночке, на удивление, зима нравилась. Она ждала ее и радовалась первому снегу. Он, как правило, выпадал ночью. Увидав его утром, девочка звала отца на улицу, чтобы потрогать белое чудо, побегать по нему и даже попробовать на вкус.

Если был выходной день, они сразу же принимались лепить снеговика, делали из угольков глаза. А чтобы он стоял всю зиму, обрызгивали его водой. Когда снеговик покрывался ледяной коркой, Леночка рисовала красной краской широкий, во всю ширину головы, рот.

Снеговик стойко переносил зиму, не боялся ни морозов, ни буранов, а весной, зареванный, в черно-красных подтеках, скукожился и исчезал напрочь.

Выйдя второй раз на улицу, старик увидал входящего в его калитку незнакомого мужчину, который остановился и спросил у Бориса название улицы и номер дома:

— Это Восточная девять?

— Да, — ответил Борис. И вдруг ощутил, что не покидавшая его все эти дни тревога возникла с новой силой. Он точно мог сказать, что она исходит не столько от этого мужчины, сколько от его вопроса. — А что вы хотели?

Мужчина открыл калитку, по нетронутому снегу четко отпечатывая следы, направился к Борису. Подошёл, поздоровался.

Борис ответил.

— Вот, — мужчина полез в карман, достал оттуда сложенную в линейку газету, — я подчеркнул, Восточная 9, продается дом с надворными постройками. Обращаться по телефону. Это вы продаете дом?

Борис как-то потерял голос, в растерянности побрел к калитке, заглянул в почтовый ящик, взял оттуда местную газету. Подумал, — почему вчера не заглянул, — подошел к мужчине.

— Пойдемте в дом.

— Простите, вас как зовут? — спросил мужчина, — а то в дом приглашаете, а мы друг друга даже звать не знаем как. Меня Геннадием зовут.

— А меня Борисом.

— А по отчеству?

— Поликарпович.

— Ну вот, а то как-то неудобно без отчества.

— Ничего, теперь все удобно. Раздевайтесь, Геннадий, сейчас будем чай пить.

— Борис Поликарпович, но вы так и не сказали — продается ваш дом или нет.

— Одну минуту, я сейчас очки возьму.

Зорин прошел в другую комнату, принес очки, развернул взятую им из почтового ящика газету, стал искать объявление на про-

дажу своего дома. Нашел быстро, прочитал, посмотрел на номер телефона, по которому может звонить покупатель, сухо произнес:

— Да, продается.

— А телефон, что указан в объявлении разве не ваш? — спросил Геннадий.

— Нет, это телефон моей дочери. Вы можете по нему звонить. А я пока приготовлю чай.

Геннадий стал набирать нужный ему номер телефона. Из трубки раздался звонкий женский голос.

— Здравствуйте, — громко произнес Геннадий, — я по поводу объявления о продаже дома. Уже продан? Ну, извините. Одну минуточку, а вы со своим отцом не желаете поговорить? Как каким, Борисом Поликарповичем.

Геннадий протянул хозяину дома трубку. Тот молча взял, поднес к уху. Женщина говорила так громко, что было слышно в комнате.

— Здравствуй, папочка. Ну вот видишь, как все хорошо складывается. Мы тебе здесь комнату приготовили, будешь жить в городе.

— Спасибо, дочка, — тихо произнес Зорин и передал телефон хозяину.

А оттуда несся все тот же бодрый женский голос.

— Папочка, мы скоро за тобой приедем. Уже недолго тебе осталось одному жить. Хватит, намаялся.

— Выключи, — хмуро произнес Борис, кивнув на телефон.

Геннадий выключил.

— Выходит, дочка в город вас забирает, Борис Поликарпович. А вы, похоже, этому не рады.

— Садись, Геннадий, за стол. Сейчас я заварю хороший чай. Все держал на хороший случай. Теперь видишь, уже хорошего ждать не придется.

— Ну зачем вы так мрачно, живут же люди и в городе.

Борис, занятый у плиты, ответил не сразу. Он сходил в зал, принес оттуда вместительный фарфоровый чайник и две пиалы. Поставил на стол.

— Вот, память о молодости, когда в Узбекистане жил. Там и дочка родилась.

Он обдал кипятком чайник, из железной коробки насыпал в ладонь горку крупного черного чая, вытряхнул в чайник. Залил

на треть кипятком и накрыл его цветным, сшитым из лоскутков петушком.

— Подождем пару минут.

Долил чайник еще и оставил его допариваться. Облил кипятком пиалы, поставил их на стол.

— А что, Геннадий, может, по стопочке пропустим?

Борис опять пошел в зал, принес оттуда бутылку коньяка, поставил на стол. Из холодильника достал сыр, колбасу. Когда выпили и закусили, Геннадий не удержался, спросил:

— Борис Поликарпович, я не ради любопытства спрашиваю, этот дом продается без вашего согласия?

— Теперь это уже не имеет никакого значения. Я подписал дом на дочь, и вот...

— А вы договаривались с ней, что будете жить здесь?

— Да. А теперь вон как повернулось.

— Похоже, деньги потребовались.

— Скорей всего.

— И что вы собираетесь делать, если не поедете в город?

— Перейду жить в дом престарелых. Благо, он на соседней улице.

— А может, вам все-таки лучше в город переехать? Там все удобства, и родные рядом.

— Родня до полдня. Покуда я им помогаю, потуда им и нужен. А город мне нужен, как... Был я там, три дня с трудом прожил, и скорей сюда.

— Ну что же, Борис Поликарпович, даже не знаю, что вам и посоветовать. Я здесь родился, потом уехал, теперь опять решил вернуться. Сейчас трудно найти место, где хорошо жить.

— А сейчас где живете?

— Да у тетки моей жены, на Восточной улице.

— И как фамилия?

— Сутурина.

— Зинаида Сергеевна?

— Да. Вы что, ее знаете?

— Знаю.

— Так заходите в гости.

— Может и зайду. Похоже, мне скоро своих гостей встречать придется.

— Ну что ж, Борис Поликарпович, спасибо за угощение. Я, пожалуй, пойду.

— Подожди, Геннадий, давай на посошок, а то чует мое сердце, что не придется мне больше посидеть за этим столом.

— Ну зачем же так мрачно, ведь все-таки дочь.

После «посошка» гость сразу засобирался домой. Зорин вышел его проводить. Геннадий старался ступать в свои же следы, дошел до калитки, оглянулся, крикнул «пока» и пошел по улице.

Борис остался стоять на крыльце, не зная, заходить ли в дом, или продолжать чистить дорожку. Мысли путались в голове, от выпитого коньяка стало еще тяжелее. И вдруг почувствовал, что вот оно, настоящее горе. Что же Господь не взял его вместе с Анной.

Он все-таки решил убрать снег. И когда дошел до того места, где стоял вынесенный из дома стол, на котором когда-то лежала Анна, вдруг почувствовал, как по щекам покатались слезы. Он долго стоял на этом месте, явственно представляя себе, как шесть мужиков подняли гроб с его навеки заснувшей любимой, понесли к стоявшей возле ограды машине.

Борис все же очистил дорогу до калитки. Он вспомнил, как увозил на санках дочку в садик. Она, лопотушка, сама стелила себе одеяльце на планки, радостно садилась на мягкое, теплое, звонко просила:

— Пап, а давай бегом прокати меня.

Он возил ее бегом, а она заливалась смехом, радовалась и просила еще и еще быстрее. Но он уже останавливался, тяжело дыша, говорил, что коняшка запыхался. А она опять смеялась и была не против, чтобы коняшка отдохнул и шел шагом.

В дом не хотелось заходить, но и стоять на улице было холодно. Он пошел в дровяник, набрал охапку дров. Теперь хочешь — не хочешь, а в дом заходить надо. В комнатах еще держалось тепло, но Борис все равно решил растопить печь. Выгреб золу, в которой еще адело несколько угольков, вынес ведро на двор, высыпал содержимое за стайкой, набрал угля.

А мысли все время крутились вокруг слова «последнее». Последний раз растопляет печь, последнее несет в дом ведро с углем, последний раз расчистил ограду от снега.

Когда в печке весело загудел огонь, Борис присел к столу. Сиротливо стояла недопитая бутылка коньяка, тарелка с закуской.

Машинально наполнил стопку, долго не решался выпить, но выпил, не почувствовав градусов, вяло пожевал сало.

И вдруг его осенило, что нужно делать сейчас. Он встал из-за стола, стал одеваться. Но вспомнив, куда он собрался идти, снял куртку, начал переодеваться. Потом побрился, надел новые брюки, — эх, погладить бы надо, — но испугавшись, что передумает, пошел в таких, какие были.

Пожалел, что выпил еще стопку, — вдруг учуют запах, — протер лицо и шею одеколоном, уловил терпкий запах, — теперь, поди, не догадаются.

Надел выходную шапку и куртку, хотел уже идти, но вернулся от двери, убрал бутылку в холодильник, закуску и стопки накрыл полотенцем.

Заведующей в доме престарелых не оказалось. Какая-то молодая женщина сказала, что она будет завтра. Зорин не то чтобы расстроился. Может, и хорошо, что нет сегодня. А вдруг бы учуяла, что выпил. Неудобно было бы.

Утром, едва рассвело, к дому Зориных подъехали две машины. В легковой — зять с дочерью, в небольшом грузовике — двое молодых парней. Старик опять чистил снег, за ночь снова напал. Увидав приехавших, кинул лопату в снег, стоял опустив руки без рукавиц, чувствуя, как они горят огнем а сердце охватывает холод.

Выскочила дочь из машины, красивая, веселая, кинулась к отцу. Обняла, чуть-чуть притронулась губами к его щекам, защебетала:

— Здравствуй, папочка. А мы с Олежекком за тобой приехали. Сколько можно здесь мучиться, там для тебя и комната отдельная есть.

— А я здесь сорок лет не мучился, а жил.

Старик развернулся, направился в дом. Дочь пошла за ним, у крыльца остановилась, крикнула мужу:

— Олег, скажи ребятам, пусть машину в ограду загоняют.

Сама пошла в дом. Отец, не раздевшись, сидел за столом, положив на столешницу большие натруженные руки, смотрел в окно.

— Пап, понимаешь, все так неожиданно получилось. Олежек мастерскую приобрел, деньги срочно потребовались.

Старик все также продолжал смотреть в окно, а в ограду уже пятился грузовичок. Распахнулась дверь, и в комнату вошел зять с двумя парнями.

— Здорово, батя, — зять смотрел куда-то поверх головы тества, — говори, что грузить, а то нам засветло уехать надо.

— Езжайте, я вас не задерживаю, — тихо произнес Зорин и сжал лежавшие на столе руки так, что пальцы на них побелели.

— Лен, я не понял, он чего выпендривается. Мы машину наняли, столько денег ухлопали. Смотри, батя, дважды приглашать не буду.

— Пап, ты в самом деле пойми, нам же ехать надо, — опять начала уговаривать отца дочь.

— Никуда я не поеду, я здесь останусь.

У старика ходуном заходила челюсть, затряслись руки.

— Да никак ты здесь не останешься, дом уже продан, — крикнул в сердцах зять.

— Вон отсюда, подонки.

Борис схватил стоявшую рядом табуретку, метнул в дверь. Никого не задев, табуретка ударилась в дверь, отворив ее, сама же разлетелась на части.

— Дед, ты что, больной на голову, — закричал один из парней, — в натуре, блин. В общем, разбирайтесь сами, а я пошел в машину. Жду десять минут, если грузить не начнете — уеду.

— Ну, знаешь, папаша, — у Ленки от выходки отца изменился голос, в нем уже не было прежней приветливости, — мы же не в игрушки играть приехали. Собирайся давай.

Она схватила первую попавшуюся под руки вещь, потащила ее к двери.

— Положи на место, гадина.

Борис снова поднялся над столом, снова от бессильной злобы у него побелело лицо и ходуном заходили руки.

Ленка будто ждала этого оскорбительного слова.

— Это ты меня гадиной назвал, — она перешла на крик, — да я тебя после этого в свой дом на порог не пущу. Иди вон в дом престарелых. Поехали, Олег.

Зять все это время укрывался в соседней комнате. Вышел и в отличие от жены, все же сказал не прощание разумные слова.

— Ты, батя, горячку не пори. Надумаешь — приезжай. Пока.

Старик, обессиленный, не сказал ни слова, смотрел в окно. Расплывался в затуманенных глазах выезжающий с ограды грузовик.

А немного погодя Борис услышал на веранде возмущенный женский голос:

— Петь, ты погляди, уехали, сволочи, и дверь не прикрыли. Хотели отопление разморозить.

В дом вошли двое, оба чем-то похожие между собой — мужчина и женщина, одинаковые по росту, весу и возрасту. Увидав сидевшего за столом Зорина, женщина удивленно произнесла:

— Вы кто?

Борис оторвал взгляд от окна, посмотрел на вошедших, глупо произнес:

— Я живу здесь.

— Жил, — выступил вперед мужчина, — у нас все документы на этот дом оформлены.

— Петя, да он же пьяный, надо милицию вызывать, — в голосе женщины звучали не то удивление, не то радость.

— Не надо никакой милиции, — как-то чересчур спокойно произнес Зорин. Он встал, подошел к вешалке, стал одеваться.

— А вещи, нам переезжать надо, — пройдя вглубь комнаты, произнес мужчина.

— Вещи? — старик, уже одевшись, взялся за ручку двери, повернулся к новым хозяевам, — потерпите до завтра.

— Только до завтра, — крикнули они одновременно.

Зорин до бывшего детского сада шел страшно долго. То ли тянул время, то ли не было сил идти быстро. Когда подошел к воротам, оттуда из ограды выскочила девочка, в черной шубке, в шапке, веселая. Увидав остановившегося у калитки старика, без всякого стеснения заговорила с ним:

— Вы тоже здесь живете? Вот здорово! Здесь все такие добрые бабушки живут. Они меня конфетками всегда угощают. А дедушек у них нет. Вы будете всем дедушка. И мне тоже. Пойдемте, я вас провожу.

Девчушка протянула старику спрятанную в варежке ручонку, потянула его за собой.

— Меня Катей зовут, — продолжала щебетать она.

Потом, выдернув ручку, забежала вперед, посмотрела в лицо незнакомого старика. Тихо произнесла:

— Дедушка, вы зачем плачете? Здесь так хорошо.

А ему сквозь эти слова слышалось: «Папочка, здесь так хорошо. Ты попозднее за мной приходи».

Николай Половинкин

Родился в 1989 году в селе Урюпино Алейского района. Окончил филологический факультет АлтГПУ. Автор двух книг стихов. Публиковался в журнале «Культура Алтайского края», альманахе «Ликбез». Живет в Барнауле.



Мальчик весёлый с грустным лицом

Вечером тёплым в городе тихом,
шаркая кедами цвета индиго,
ходит бесцельно, обласканный сном,
мальчик весёлый с грустным лицом.
В свете закатном оконного блика
в гости кому-то несёт он вертиго.
Только оно не нужно никому —
всем оно чуждо и тянет ко дну.

Всюду, казалось бы, милые лица,
только вот не с кем порой поделиться.
Так и утонет в себе он самом,
мальчик весёлый с грустным лицом.
Гаснут ячейки пустующих окон,
звёздам свой свет передав ненароком.
Ночь во владения входит свои,
кеды по улицам ищут любви.

Тихо гудит за кварталами где-то
кольцами дыма кассетная лента.
Девочки грустные с милой улыбкой,

общей на всех, совершают ошибку.
Завтра наступит и спишет всё скопом,
алое солнце взойдёт над востоком,
чтобы раздать себя в ультрамарин.
Кто-то, как прежде, будет один.

Каждое утро свидетель убийства
старого новым, нечистого чистым
делает запись в тетрадке своей:
«Так потерял я ещё один день».
Старше становятся кеды индиго,
всё тяжелее носить им вертиго.
Снова гуляет внутри со свинцом
мальчик весёлый с грустным лицом.

Из Sonnetarium

Е. М.

Прекрасно то, что можно совершать
любые безрассудные поступки.
Пока вращается мирок наш хрупкий,
мы покорим его за пядью пядь.

Ну, может и не весь, но покорим,
ну, может и не мы, но наши дети.
И пусть с годами мы всё меньше светим,
но разве не прекрасен этот мир?

Ни войны, ни пороки, ни разлуки
не уничтожат нас, пока есть руки
и голова привинчена к плечам.

И хоть внутри неё гуляет ветер,
мы будем жить с тобой на белом свете
назло грызущим сердце мелочам.

Е. М.

Как замечательно, неловко, плавно...
Прости за пошлость, я люблю тебя.
А как прожить на свете, не любя?
По меньшей мере, это было б странно.

Ты будешь для меня всегда желанна.
Пусть сердце плавится от нежного огня,
и греет мысль о том, что всё не зря,
и я любим тобою без обмана,

и ты неловкость всю мою прощаешь.
Такая в целом мире ты одна лишь.
Как всё же сложно подбирать слова,

но и без них прекрасно всё понятно...
Как замечательно, как плавно, как отраднo,
что живы мы и что любовь жива.

Е. Г.

Сидел на пирсе, плакал горько
зеленоглазый паренёк.
Он, детству подводя итог,
ронял слезу в своё ведёрко.

А за столом сидел старик
в продавленном и ветхом кресле.
Он за своим рабочим местом
листал страницы древних книг.

Рождались люди, уходили,
играл на море зыбкий блик,
росли гвоздики на могиле,
рыдали мальчик и старик,

когда им истину открыли,
что между ними — только миг.

Не хорони меня в земле.
Сожги. А прах развей над миром.
Не стану я лежать под глиной,
не стану пищей для червей.
Не нужно мне могильных плит
и прочих всяческих излишеств.
Не нужно поминальных пиршеств
и в церкви пламенных молитв.

Не отпевай, не плачь, не пой,
и исповедовать не надо.
Прости за всё и просто рядом
немного посиди со мной.
Одна лишь просьба есть к тебе:
прошу, когда меня не станет,
насколько позволяет память,
ты помни — был я на Земле.

Когда в плацкарте гаснет свет,
когда тошнит уже от чая,
и собеседник твой зевает,
на разговоры силы нет.
Когда меж тамбуров горит
звездой прощальной твой окурочек,
душа, устав от вечных жмурочек,
отбрасывает всякий стыд:

«Кто ты такой? Куда ты едешь?
И ждёт ли кто-нибудь тебя?»
И что ты ей на то ответишь,

когда душа, как острый лемеш,
а разум — мягкая земля?

А за составом нет следов
и за тобой, похоже, тоже.
Слой шелухи тобой отброшен,
осталось чистое зерно;
колёсный монотонный бит,
да за окном поля и степи,
да проводник устало бредит.
Душа с тобою говорит:

«Зачем ты топчешь этот поезд?
Зачем на полке ты не спишь?»
Ты скажешь: «Я не беспокоюсь.
Я просто продолжаю повесть
с простым названием: «Моя жизнь».

Кусака Ёко

Дефенстрированы книги,
и письма взглядом сожжены.
Никто её не слышал крики,
со звоном падали вериги,
бесшумно прилетали сны.

Она сказала: «Сайонара», —
расправив крылья-паруса,
и на корабль — прямо с бала,
пыль островную променяла
на брызги соли в небесах.

Так нашептал ей Заратустра,
тем самым оказав ей честь.
Ведь это высшее искусство:
пока тебя находят вкусным,
вдруг запретить себя всем есть.

И здравствуй, рельса-харакири,
надёжней, чем любой сэмпай.
А кто из вас в подлунном мире,
под пледом, в кресле, на квартире
во сне не представлял свой рай,

в котором ветреная жалость
промозглых молодых костей
слезами выживших питалась,
в котором места не осталось
для снисходительных речей?

И пусть ханжа не утверждает,
что это пошло и смешно.
На поезд прямиком до рая
никто из нас не опоздает.
Не суждено. Не суждено.

Гоменасай, Кусака Ёко.
Один лишь способ быть собой:
расправить крылья так жестоко,
наполнить жёлоб кровостока,
остаться вечно молодой.

Всякий суд со своей колокольни.
Я себе уже всё доказал.
Я теперь абсолютно спокоен,
всё на свете мне божья роса.

Надо мною небесная крыша,
мне защитой звёздная прядь.
Если только не буду услышан,
то не стану и рта раскрывать.



Георгий Гребенщиков

Родился в 1883 (?) году в селе Николаевский рудник на Алтае в семье горнорабочего. Русский писатель, критик и журналист, общественный деятель. С 1909 был ответственным секретарем журнала «Молодая Сибирь», весной 1912 года стал редактором барнаульской газеты «Жизнь Алтая». Автор этнографических очерков, рассказов и повестей, статей о старообрядцах Алтая, романа-эпопеи «Чураевы» и др. Умер 11 января 1964 года в Америке, куда эмигрировал в 1924 году.

30 мая 2017 года в Барнауле, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая, открылась выставка-дарение «Литературная классика Георгия Гребенщикова». Среди экспонатов представлена рукопись «Пушкин». Эта лекция прочитана Георгием Гребенщиковым на английском языке в колледже Северо-Западного университета в Чикаго, штат Иллинойс, США 20 января 1937 года — в год столетия со дня смерти поэта. Текст лекции публикуется впервые.

ПУШКИН

В связи с событием, которое у нас сегодня происходит, у докладчика в моем положении возникает весьма странное чувство. Я чувствую, что сложно быть самим собой, быть естественным и более близким с аудиторией.

Это не потому, что у нас слишком разные манеры самовыражения, но в виду того что мы, русские, теперь находимся в странной ситуации, до сих пор являемся для вас, американцев, чужими...

Тем не менее я попытаюсь сломать мнимую стену между вами и мной.

Возможно, сам Пушкин мне в этом поможет. Однажды поэт пошутил:

*Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.*

Надеюсь, вы поддержите мою английскую речь своими добрыми улыбками...

Может показаться, говорить о Пушкине легко. Его труды и личная жизнь так тщательно и подробно изучены, что лектору не остается ничего, кроме как повторять и цитировать какие-либо подбранные материалы, биографические книги или готовые выводы.

Но ввиду обилия материалов и величия пушкинского гения и огромного значения его трудов совершенно невозможно передать всего Пушкина за какой-то час... Таким образом, говорить о Пушкине — это непростая задача и большая ответственность.

Мне хотелось бы показать вам русскую «Страну чудес», созданную Пушкиным, но я и сам заморожен, стою рядом и смотрю с изумлением, в тишине и преданности... И спрашиваю себя: почему Пушкин так близок, так дорог моему сердцу, настолько дорог, что кажется, будто все, что я любил в России или где-либо, — любил благодаря влиянию Пушкина...

Возможно, это связано с ранними впечатлениями детства, которые сохранились в памяти. Мне было около пяти лет. Вьюжный рождественский день, далеко за полдень. Отца и старшего брата не было дома, в нашей скромной, омраченной суровой и снежной

зимой хате. В комнате тихо, но из угла, где висели иконы, иногда слышался странный детский разговор. Там находилась моя сестра, ей было лет семь. Она играла в куклы: угощала их рождественским ужином. На десерт она положила на кружочки из красной бумаги, выполнявшие функцию тарелок, маленькие шарики из снега. Эти снежки заменяли ей вкусные сырники, которых у нас почти не осталось, так как их отдали мальчишкам, приходившим днем с колядками. А снежки достать оказалось просто: прямо тут, в углу, потому что угол промерз меж бревен и снег местами покрывал жилище и даже кукол.

Бедность, в какой мы жили, не поддается описанию... Я сидел у печи, грея свои ступни, и решил узнать, чем занята моя мать. Она сидела в тишине у окна и читала книгу, потому как время на чтение оставалось лишь по праздникам. Уже смеркалось. Она положила книгу на полку и подошла ко мне — погреть свои руки на печи. Ее глаза сияли радостью, но были полны слез. Глядя на меня, она повторила прочитанное нараспев, в виде мягкой материнской песенки, вроде колыбельной:

*Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя...*

Эта песня матери поселилась в моем сердце навечно. То стало первым знакомством с пушкинской поэзией в нашем семейном кругу, в мрачный вьюжный день в маленькой деревне в сибирской глубинке.

Много лет спустя в Париже я встретил художника, посвятившего свою жизнь воссозданию облика царя Соломона. В его студии я видел несколько эскизов — попытки в разных формах изобразить части кистей соломоновых рук, где-то — только пальцы, где-то — лишь запястье.

— Моя основная идея, — сказал он, — раскрыть образ и положение рук Соломона, когда он был влюблен в Суламиф и, особенно, когда его мудрость достигла апогея.

Если бы я мог сделать набросок хотя бы даже одной руки Пушкина, которая однажды была обращена к Сибири с его бессмертным и пробуждающим посланием к сибирским узникам!

Моя мать, жена простого рудокопа, уловила это послание много лет спустя после смерти Пушкина, поскольку его поэзия бесконечно проникновенна.

И если я сегодня стою перед вами, то это благодаря Пушкину и моей матери. Пушкин и моя мать всегда были для меня самыми любимыми путеводными товарищами.

Пушкин и моя родина Россия, Пушкин и свет мировой культуры — все это единый, непоколебимый идеал моей жизни. Когда я покинул Россию, то не взял ничего, кроме Библии, портрета матери и книг Пушкина.

Для русских людей Пушкин — душа нации, душа истории, бессмертного духа нашей литературы и искусства. Дух поэта, подобно святому благодатному огню, навеки пребывает на алтаре нашей Культуры.

Духовная сила Пушкина, его личности и искусства, подверглась ошеломляющему попранию в мятежной буре революции в России. В первые же годы он единогласно был отвергнут всеми лидерами и писателями-революционерами как враг рабочего люда, как аристократ, как поэт-дворянин.

В те дни в Крыму мне довелось встретиться с двумя внуками Пушкина — с сыном и дочерью генерала Александра Александровича Пушкина — Николаем и Еленой. Прочитав в местной газете, что толпа невежд напала и избила Николая и Елену, потому что они — землевладельцы, я посетил живописное имение их отца в Ялте.

Николай Пушкин состоял офицером Императорской армии. Ему было около сорока. Елене, получившей хорошее образование в Англии, — около тридцати на ту пору. Она показала мне раны на голове. Кровь в ее волосах еще не высохла...

Меня сильно потрясла эта история, и я задавался вопросом — это ли благодарность людей, за освобождение которых поэт Пушкин сам так много страдал?

Но взгляните теперь на Советскую Россию. Она все еще бунтует, она до сих пор голодна, для многих по сей день недоступна, но ни одна нация никогда не чувствовала кого бы то ни было из героев так масштабно, как недавно Россия отмечала юбилей своего

поэта... Это говорит об одном — благородство Пушкина одержало победу над невежеством.

За последние несколько лет о нем написаны сотни новых книг. Их печатают миллионами и перевели как минимум на 50 разных языков. А некоторые, например «Литературное наследие Пушкина», имеют объем более тысячи страниц. Это — Евангелие, новый советский молитвенник, посвященный Пушкину. И еще есть много-много других книг.

Более того, я не поверил своим глазам, когда прочитал в московской газете «Известия» (6 июня 1936) следующие строки: «Мы отбрасываем жалкие потуги пошлых социологов приукрасить Пушкина, большевизирующих его личность и делающих из него бескомпромиссного революционера». Или другое: «Пушкин — гений, открывший музыку человеческого языка. Он создал бессмертный стих, красота которого неувыдаема и вечна».

Конечно, я не ставлю цель сравнивать действительность с чьи-то сочинениями. Но я рад, советские писатели признали Пушкина, несмотря на его аристократизм.

Другими словами, дух Пушкина стал твердой творческой реальностью. Его труды — это остров сокровищ русского народа, неиссякаемые и доступные для каждого и в то же время загадочные и бессмертные.

Труды Пушкина такие плодоносные, их значение продолжает расти по сей день. Они затрагивают разные темы и проникают в любую сферу жизни. Они охватывают земные проблемы и возвышают нас к горным мечтам.

Не удивительно, что почитание Пушкина в России зрело целый век и теперь распространилось по всему миру. Он поистине России первая любовь...

Даже теперь, когда возник раскол среди русских людей на несколько политических и социальных лагерей, Пушкина триумфально чествуют все представители нации и дома, и за границей. Это доказывает тот факт, что наш поэт действительно соответствует универсальному уровню.

Однако остается вопрос: мог ли Пушкин развить свои творческие мысли до уровня универсальности, если бы он жил где-либо

вдалеке от собственного народа? Дабы получить ответ на этот вопрос, следует подойти к Пушкину просто, о чем он сказал стихами:

*Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастёт народная тропа...*

Несмотря на то, что Пушкин жил и работал в тяжелой атмосфере, ограниченный цензурой, окруженный политическими подозрениями, и оказался втянутым в личную трагедию из-за интриг, он смог подняться над всеми препятствиями. Поэт был весел, бесстрашен и полон юмора. И путь, который Пушкин выбрал для своей творческой свободы, выразился в абсолютной правдивости жизни и благородной простоте искусства и языка.

Но как и где находил он силы, которые послужили основанием его нерушимого памятника? Из людских сердец, от людского духа, в неписанной человеческой мудрости — вот откуда Пушкин черпал эти качества.

Он стал первым литератором, открывшим ценность русского фольклора. И краеугольный камень того самого пушкинского основания заложила его няня, Арина Родионовна, крепостная крестьянка, которая очень подробно познакомила Пушкина с фольклором. Поэт был верен ей до конца. Вот несколько трогательных строк:

*Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых.
Давно, давно ты ждёшь меня.*

И хотя Пушкин был аристократом с головы до пят, он никогда: ни в озарении славы, ни во мраке суровых дней — не забывал о народе, который терпеливо и безропотно нес свою рабскую ношу.

Время от времени, помимо ежедневной работы, Пушкин сражался против рабства и невежества своим словесным мечом: будь то эпиграмма или тонко завуалированный стих, или открытое послание солидарности к революционно настроенным декабристам, сосланным в Сибирь. Пушкин — сын своего народа, возвращенный народом и преданный народу.

Однако трактовать пушкинские идеалы, оценивая их только общенационально, было бы крайне ошибочно, так же как и их политизирование нанесло бы вред правильному восприятию его трудов.

Будучи крайне национальным, он выше всяких сектантских за-коулков несет свет и тень той правды жизни, с которой имел дело. Русский народ, русская почва и особенно русская история служили ему тем садом, где росли цветы его поэзии. Но аромат и оттенки цветов — подобно радуге — имеют божественное происхождение.

Влияние Пушкина на все сферы русского искусства и музыки невозможно переоценить. Он обогатил русский литературный язык, преобразовал русскую литературу в классику, хотя сам нередко шутил насчет так называемого Российского академического словаря:

*Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,
Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь.*

Действительно, наш Академический словарь на то время включал лишь 43 тысячи слов, но вскоре после смерти Пушкина, благодаря его влиянию, там было уже 115 тысяч слов. Теперь же он содержит свыше шестисот тысяч.

Пушкин открыл русскую Страну чудес — мифов и легенд — и использовал фольклор в своих грандиозных стихотворениях. В одном из писем он скромно говорил: «Вечерами слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма».

А кто сегодня не попал под очарование великих русских опер и не восхищается их красотой? «Руслан и Людмила» Глинки, «Русалка» Даргомыжского, «Золотой петушок» и «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова? Они созданы благодаря вдохновению, полученному от пушкинских сказок.

К сожалению, стихотворения Пушкина практически непереводимы на другие языки. Но в оригинале они являют настоящую музыку в каждом слоге, в каждой строке — целая картина.

Единственный язык, способный наилучшим образом передать поэзию Пушкина, это божественный язык нашей великой музыки. Когда мы видим и слышим оперы Чайковского «Мазепа», «Пиковая дама» или «Евгений Онегин», тогда только можем ощутить, как же чудесны стихи. Слушая Шаляпина, величайшего русского певца и гениального актера, при исполнении его коронного номера в опере Мусоргского «Борис Годунов», мы постигаем всю глубину пушкинской философии.

Опера «Дубровский» Направника, опера «Алеко» Рахманинова и многие другие оперы, балеты, симфонии, романсы и народные песни — всего около 150 произведений, все они происходят из одного источника — от волшебной музыки Пушкина. И эта волшебная муза в течение века создавала чудесное царство музыки, рай для человеческих грез, горний мир настоящего человеческого счастья...

Что я могу еще добавить к чудной пушкинской реальности? Как я могу разъяснить гения, чьи труды до сих пор представляют собой нераскрытую тайну и чья самая жизнь являет собой дивный роман?

Романтика Пушкина вошла в жизнь народа в бесчисленных формах и образах. Семена, посаженные людьми в лице Арины Родионовны, дали неиссякаемый урожай. Но верно и то, что семя, давая новую жизнь, само умирает в забвении. Приведу пример.

В 1860 году в имении помещика Рокотова под Москвой блестящая светская публика слушала известного певца Федора Комиссаржевского. Среди гостей находилась старая дама, показывавшая всем своим видом, что пение ей не нравится. Чуть позже певец спросил хозяйку: «Кто вон та пожилая дама?» — «Вы разве не знаете? Это мадам Керн». Он тут же вспомнил, что этой самой даме, когда она была молода и красива, Пушкин посвятил стихи «Я помню чудное мгновенье», претворенные в один из самых лучших романсов. Певец немедленно спел знаменитый романс так вдохновенно, как только мог, а затем подошел к даме, опустился на колени и поцеловал ей руки. То была немая сцена.

Пожилая дама расцеловала голову певца, и слезы покатались по ее щекам.

Да, это была она, современница Пушкина, одна из самых красивых девушек, которая однажды вдохновила поэта написать стихи бессмертного романса.

И снова шли годы... В июне 1880-го вблизи Тверского бульвара в Москве, вдоль узкой улицы несли огромный бронзовый памятник Пушкину. Движение было перекрыто. Но в этот же самый момент по бульвару медленно проходила похоронная процессия. Истощенные лошади волочили убогую повозку, на которой стоял захудалый гроб с телом мадам Керн, умершей в нищете и забвении. Это была последняя их встреча, могучее древо славы и малое семя, давшее жизнь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поистине Пушкин является отцом русского Ренессанса в самом широком и благородном смысле этого слова. Поэт дал миру три великие вещи.

1. Пушкин вознес на высоту древнерусский эпос, во всей полноте очарования, и соединил его в один мощный поток с той новой западной культурой, которая направлялась в России жесткой, но все же творческой рукой Петра Великого, любимого императора Пушкина.

2. Пушкин показал, что таланты русских людей ни в чем не уступают способностям любой европейской нации. Петр Великий преобразовал Россию в европейское государство, а Пушкин реформировал русский язык, литературу и искусство в великое царство Культуры.

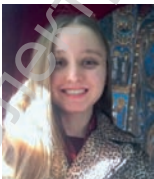
3. Пушкин объяснил всему миру, что такое «русская душа». Это — способность понимать другие народы настолько глубоко, что сострадание превращается в великую жертву. Русские люди умеют бесконечно прощать и любить, как им и должно, доказывая тем самым истину древней христианской веры.

За великие достижения и свершения, за просвещение и культуру у нас имеется веская причина называть Пушкина нашим Шекспиром, нашим Гете, нашим Данте.

И в то же время один русский критик писал: «Пушкин — наш славный и любимый товарищ, вечный современник, идущий с нами вместе с раннего детства до самой могилы. Пушкин нам всегда близок, всегда готовый ответить на зовы наших сердец, жаждущих прекрасных откровений».

С таким богатством культуры мы гордо входим в любой храм универсального духа. У нас есть повод стучаться в каждое человеческое сердце всякой нации. Потому что наши собственные сердца переполнены сокровищами, и мы должны поделиться ими со всем миром.

Перевод на русский язык Ольги Кудзоевой



Ольга Кудзоева родилась в Сургуте. Исследователь наследия деятелей культуры русского зарубежья; переводчик. Сотрудник издательской группы «КриптограММа» (Санкт-Петербург — Москва)

БАЛЬМОНТ*

Вот уже год прошел с тех пор, как во второй книжке «Современные Записки» появилась поэма «Змей» К. Д. Бальмонта. Я все ждал, все прислушивался — как же отзовутся на это литературное явление наши критики, особенно те, которые так часто теперь справляют трогательные панихиды по поэтам, погибшим или так или иначе отошедшим в лучшие миры. Не могу здесь воздержаться от злопамятного чувства к тем из восхвалителей наших поэтов, которые при их жизни всячески их поносили за «прислуживание большевикам». Так было с Блоком, так было с другими, имевшими соприкосновение с большевистскими изданиями, так, несомненно, будет с Брюсовым и с Горьким. Теперь считается неприличным не выругать этих писателей, после же их смерти, которая так просто и хозяйственно разгуливает среди нас, будет почитаться неудобным «не воздать им должное». Не буду останавливаться на этом глубоко волнующем меня чувстве. Оно несложно, но заразительно по своей злобности. Подавляя его, говорю прямо — прискучили заупокойные поминки. Хочу помянуть «о здравии» и, не дожидаясь печального повода, остановиться на одном из замечательнейших носителей драгоценнейшего дара Божьего — на Бальмонте.

Никакой я критик, никакой я публицист. Я — читатель, думаю, что это дает мне право, а как читателю пишущему — даже и некоторую обязанность напомнить всем другим читателям о том, что бывают случаи, когда сами читатели должны как можно больше набрать в грудь воздуха и пронзительно закричать, даже не зная отчего: от боли, или от радости, или от того и другого вместе.

Ровно год назад, когда я прочел «Змея», — а читал я его много дней, хотя он состоит лишь из пятнадцати сонетов, — мне хотелось кричать от радости по поводу того, что вот среди нас, ужас-

Очерк Г. Д. Гребенщикова «Бальмонт (из дневника)» написан весной 1921 г. как ответ на венок сонетов К. Д. Бальмонта «Змей», опубликованный в парижском журнале «Современные записки» (1920, кн. II). Печатается по рукописи (машинопись) из архива публикатора. — Публикация В. А. Росова.

ных по своей жестокости людей, живут полубоги и несут наш крест и все-таки творят великую литургию бессмертной мысли...

В Провансе нынче летом, отрываясь от тяжелой земляной работы, я прочитывал разбросанные по газетным листам кровавые кусочки сердца Бальмонта, распластанного где-то на суровом океанском берегу в Бретани. Мне хотелось кричать от боли, потому что в это время пришло известие о смерти Блока. А теперь мне хочется кричать от боли и от радости, и от чего-то еще более глубокого, быть может, от неутолимой жалости ко всем русским людям, теряющим одного за другим своих поэтов и писателей, которых остается так немного, что можно перечесть по пальцам. И в крике своем мне хочется внушить им, этим читающим русским людям, — прочтите, скорее прочтите их, этих немногих, и прочтите при их жизни, чтобы радость, которую вы испытаете при этом, не была отравлена сознанием, что поэт или писатель уже не среди нас. Как читатель, я знаю по себе, как это больно — почуять, что любовь твоя запоздала, что ласка твоя не нужна...

У меня, как у читателя наиболее чувствительного, что ли, за последнее время тяжких общих и личных потерь сердце вытянулось, как струна. Не за себя, не за личное испытываю я напряженную боязнь. Страх мой каждую минуту наготове оттого, что все они, немногие, так близки от развязки, так просто и легко могут перейти эту последнюю черту. Поэтому я не могу забыть старенького и осунувшегося за последние годы славного сподвижника Короленко — Сергея Яковлевича Елпатьевского, еще летом 1920 года ходившего с кузовочком на алупкинский базар за овощами, которые подешевле. Не могу без острой боли вспомнить лицо, похожее на старого святого древнего письма, — Ивана Сергеевича Шмелева, который, ударяя себя в грудь, кричал, что весь его смысл жизни теперь в Сереже, в единственном сыне. Какую надо иметь духовную мощь, чтобы пережить расстрел этого сына! Несомненно, только обман или самообман, что сын его жив и где-то скрывается, дают ему силу смотреть еще на окружающую жизнь.

А в Симферополе больной Тренев еще в том же 1920 году, весной, в теплой комнате, в теплом пальто, с глубоким взглядом запавших глаз, с надорванной грудью все ждал возможности по-

работать на свободе. Сергеев-Ценский, замкнувшийся в своем скиту в Алуште, уже и тогда сухой, как схимник; Вересаев в Коктебеле — какие все они додумывают думы, не имея возможности поведать их читателю? А здесь — ясный, строгий и холодный, как тысячелетними мировыми непогодами отшлифованный мрамор, Бунин; уютный и простой, глубокий в своей широкой русской простоте Куприн; испытанный в мистических богоисканиях, с мудрыми и ясными глазами Мережковский... Как их немного, и как все они изнурены любовью к миру и прекрасному в мире! А много ли их там, на самой Голгофе, среди распятых и среди распинающих...

Недавно в каком-то берлинском иллюстрированном издании я встретил последний снимок Горького, идущего по улице. Боже мой, какая страшная печаль в лице, в согбенной фигуре, в отвисшем рте... Как будто на плечах своих он несет все скорби и проклятия жесточайшего из веков.

А время идет, и колесница его давит без разбора всех, никого не щадя, никому не потворствуя, и ее сила смерти так велика, что перестала пугать, стала почти желанной, о ней говорят как об избавительнице от унижительных земных страданий, к ней идут просто и смело, а Бальмонт уже начинает воспевать ее как «Белую невесту»...

Вот почему мне жаль не их, творящих или молчаливо додумывающих свои мысли. Они сумеют умереть красиво и гордо, как боги. Мне жаль именно сиротеющих читателей, и жаль не потому, что они лишены прекрасного тогда, когда оно еще не потеряло теплого дыхания поэта, а потому, что между ними, остающимися жить, и теми, уходящими и оставляющими на земле цветы своих творений, цветы мысли человеческой, может развернуться бездонная пропасть, и нет ничего позорнее для живущих, нежели смерть поэта, умирающего с улыбкой презрения на устах, с улыбкой презрения к людям, о которых он всю жизнь думал как о равных себе, а на пороге смерти понял, что, в сущности, он был совершенно одиноким и непонятым...

И как должно возмущать его нетленный дух, когда над его могилкой запоздало возрастает искусственное древо понимания и разгадки. Потому что тогда все — и похвалы, и хулы — одинаково

имеет смысл нарядной клеветы, против которой уже не может защитить себя навсегда умолкший.

Вот почему я, читатель, в данном случае — читатель Бальмонта, хочу во всеуслышание сказать ему мое посильное слово похвалы или порицания — пусть он услышит, пусть порадуется, если мое порицание будет правдиво, пусть возмутится и ответит сокрушительным стихом, если похвала моя будет неумной.

Итак, я возвращаюсь к «Змею».

Вещь эта настолько жуткая по своей красоте и силе, что я даже опасаясь, не совершу ли я вреда, указывая на нее. Быть может, раскрытие этого произведения ввергнет в бездонную пропасть тысячи читателей, в особенности юных. Одно у меня утешение: оно недоступно массам, оно доступно слишком искушенным и сильным читателям, среди которых, впрочем, будут и такие, которые если и сорвутся в пропасть, то туда им и дорога. Но самые сильные получат еще больше сил для прославления жизни, мира и вселенной.

Однажды, еще в прошлом году Бальмонт на мои недоумения с присущим этому поэту высокомерием ответил мне: «Ничего там нет очень мудрого. Там все так просто и ясно».

Это не было «унижение паче гордости», это было искреннее недоумение полубога, которому действительно все ясно и просто. Я же, грешным делом, подумал тогда, что Бальмонт на этот раз не понимает глубины своего творения.

Я сейчас же вспомнил шаманов полудиких идолопоклонствующих сибирских народов, которые в своих экстатических мистериях возвышаются на ту же высоту провидения и уподобления богу, на которую взлетает культурнейший поэт. Шаман-дикарь и глубокий поэт где-то в запредельных высях, несомненно, хоть на одну секунду должны встретиться. Но шаман должен свалиться после первого толчка сознания, что он все же на земле. А поэт, даже бродя по земле, будто парит под облаками, потому что он наиболее изощрен в своих полетах к запредельному. Однако главное — способность перевоплощаться в эльфов шамана и поэта делает их равными и дает мне право утверждать, что в этом-то и обнаруживается божественное начало, обнажающее мой разум и заставляющее меня кричать от радости, что люди на земле не одиноки, не сироты, что с ними, в них, над ними — Бог...

Теперь я делаю свой, необходимый мне, быть может, неправильный, но укрепляющий меня вывод в том, что Бальмонт, сын России, — есть законнорожденный сын российского народа, этого страшного Змея Горыныча, хвостом своим лежащего в бездонной пропасти, а всем хоботом обвивающего мироздание с его звездами и межпланетными пустынями. Другими словами, Бальмонта мог создать лишь русский народ, а углубить, утончить, возвысить его душу — только скорби русского масштаба. Нужно было пройти их только для того, чтобы дорасти до понимания Бальмонта.

Что же в таком случае сам Бальмонт? Он как бы самое жало того отравленного смертным ядом меча, который поднят карающей десницей Бога над Россией, а стало быть, и над всем человечеством. Как будто Тот, чьи пути для нас неисповедимы, взял Россию как кусок руды, расплавил на страшном огне и выковывает страшной силы меч, которым покарает мир за его безбожие. И Бальмонт мне представляется самым жалом острия, отравленным лезвием этого меча. Это та сторона лица Бальмонта, где он страшен своим «Змеем». Другая сторона его лица вся озарена светом солнца. И кажется, что вся Россия — глыба мрамора, чуть-чуть тронутая сильной и беспощадной рукой скульптора, и уже ожили и дышат богочеловеческие черты лица, и вечен и могуч будет символ веры, созданный из этой глыбы.

Я намеренно не цитирую из «Змея». Я боюсь, что это умалит все то значение, которое я придаю этой поэме. Но не боюсь признаться, что я, к великой радости своей, все еще не могу впитать в свои мысли полностью всех строк, и музыки, и ритма, и необъятных образов, дающих раду, опоясывающую все мироздание более широко, нежели даже Млечный путь. Только одно мое сознание, что человек мог вырасти до этих образов, делает меня счастливым и бесстрашным перед лицом расхаживающей между нами смерти. Как будто через «Змея» Бальмонта я перешагиваю за пределы и уже живу одной нескончаемой жизнью с душами планет, и потому мне жаль тех, кто этого не чувствует, хотя и мог бы чувствовать не менее меня. До такой степени «Змей» Бальмонта поднимает и возносит, радуется и делает безумной мою скорбь о людях, отравивших себе жизнь.

И чем острее чувствую я боль за Бальмонта, терзаемого муками нужды и одиночества, тем больше понимаю, что как бы в нем одном или в немногих подобных ему, сосредоточилась теперь вся психологическая боль России мыслящей, религиозно-подвижнической, распятой и поруганной перед лицом всего мира.

В нем и в немногих подобных ему еще тлеют и могут каждую минуту угаснуть остатки личности, разрушаемой бездушным механизмом коллективизма.

В нем и в подобных ему еще живут остатки поруганного божества, того прекрасного, еще живого, еще тлеющего, и трепетно молящего, и отчаянно бьющегося в железной лапе равнодушия, что единственно осталось в утешение людям и во спасение их душ от тления телесного и от одичания духовного.

Мысль — чудом уцелевшая от разрушения тысячелетий, утонченная и ставшая сокровищем неуловимым, взлетевшая в недостигаемые выси и соприкоснувшаяся с Богом, единственная, удерживающая вселенную от провала в кромешную тьму бездны — эта мысль как будто вся доверена одному Бальмонту и немногим подобным ему, и они, борясь за ее целость, как за знамя — честный воин в битве, взывают, вопят осипшими нечеловеческими голосами к миру, к человеку, а мир и человек молчат, не слышат и не услышат, пока не умрут эти божьи избранники. И ужас в том, что люди к этому привыкли.

И там, в тяжелом труде, в минуты задумчивости над короткими стихами Бальмонта как над живыми кровавыми каплями слез, мне часто хотелось прокричать поэту — потерпи, не падай духом, не умирай! Вот я, самый скромный из думающих, слышу тебя, и понимаю, и скорблю, и плачу. Копаю землю, вожу гравий, кормлю мула, изнемогаю под тяжестью камней, но думаю, думаю о тебе, молюсь за тебя, пока ты жив, хочу продления твоих дней, я — самый малый из понимающих тебя... Утешься же, потому что есть более мудрые, более понимающие.

И что же...

Еще четыре месяца — красные капли сочатся и падают прекрасными цветами на газетный лист, почти аккуратно каждую неделю. Душа Бальмонта околдована злым сном, уже совершается в ней какая-то проклятая свадьба, уже лежит он долго на льду зеркальном, прожигая его толщину жаром своего сгорания, и уже

бредит чертовыми цветами, и все менее и страшнее бьет набат его вещей души, и «белая невеста» уже манит его своими неземными чарами, и делается так жутко, будто навсегда собирается исчезнуть солнце.

И вот — умер Короленко... Конечно, всюду будут его славословить, будут ему льстить над гробом даже и они, уморившие его мучительной смертью, и публицисты-плакальщики будут писать, что только он один был лучше всех, что лучше его не было.

А Бальмонт еще острее, точно клинок входит в сердце и стыдит, и мучает...

Уже много дней, как я гордый труд земледельца переменяю на труд служащего в книжной лавке. И все время я кладу поверх всех разложенных на прилавке книжек — маленькую, обидно маленькую книжку Бальмонта «Светлый час». Она уже запылилась, истрепалась... И стоит так недорого, и все-таки до сих пор никто ее не купил. За полтора месяца — ни одной книжки.

Какая жуткая, какая гнусная ирония судьбы. Но я утешаю себя тем, что книжку не покупают, вероятно, потому, что Бальмонт слишком знаменит, слишком огромен, чтобы покупать такую крошечную книжку.

А между тем Бальмонт самый величайший именно в каких-либо пятнадцати сонетах его «Змея».

И мне кажется, что при всей моей поспешности и склонности этой записи, я не смог бы написать на целых ста страницах всего, что вызывал в моих мыслях «Змей». Что это за чародейство — заковать в пятнадцать стихотворений неисчерпаемый источник мудрости! «Змей» Бальмонта — это не только Соломонов храм, построенный в XX веке со всеми достижениями и усовершенствованиями, но это храм, населенный божествами, прекрасными, как сонмы звезд, непостижимыми, как вечность, мудрыми, как жизнь и смерть, скрепленные брачным союзом до конца дней мироздания. И создатель этого храма — Бальмонт.

Кто же в таком случае Бальмонт?

И со всей непосредственной наивностью, которую рождает во мне обаяние Бальмонта, я говорю себе с непоколебимой верой: Бальмонт — божественный гость на земле, вестник небесной радости, подобный ангелу блага.

Бальмонт так велик, что он единственный не посмеется надо мной за эти наивные слова мои. И я радостно жертвую своей репутацией в глазах моих врагов и судей во имя его, хранителя божественного очарования. Благодаря Бальмонту, как и благодаря Пушкину, и Льву Толстому, и еще целому ряду божественных гостей земли, я делаю тот необходимый для моего земного существования вывод, который делает все мои скорби, все унижения и человеческие несправедливости ничтожными и легко переносимыми, а именно: раз существовали Пушкин и Толстой, и существует Бальмонт, и непрерывная, хотя и нежно-тонкая цепь воплощенных в грешную землю плоть ангелов, — значит, есть Бог.

А для человека религиозного такое откровение — щит непроборимый.

И вот я совершаю литургию радости по поводу того, что живет Бальмонт, живет Качалов, живут и сохраняют божественные мысли белый Бунин, красно-серый Горький, и что все они и еще многие, великие и малые, добрые и злые ангелы — есть хранители бесплотных сил небесных. А то, что они русские и русской скорбной мукой взлелеянные, — окрыляет мою мысль надеждой, что сбудется реченное пророком Достоевским, что русский народ и есть тот самый богоносец, который спасет мир от окончательной гибели. В это я теперь верю уже так прочно и непоколебимо, что за веру эту готов совершенно спокойно, просто и без всякой рисовки пойти на костер. Ибо что такое муки физической смерти в сравнении с тем отчаянием духовным, до которого дошла караемая Богом, страшная в грехе своем Россия.

Вспомните это отчаяние, имейте силу заглянуть ужасу в глаза, найдите мужество представить грех России до конца. С одной стороны — Бальмонт, до понимания которого надо было пройти длинный ряд годов труда, ученья, опыта, греха, любви, печалей, унижений — словом, до седины. А с другой стороны — мужик, безграмотный житель голодного Поволжья, в отчаянии и голоде, в неизъяснимых муках жалости после молитвы перед образом скорбящей Божьей Матери решается убивать всех своих четырех детей, одного за другим, тупым ножом. И ангел, явившийся когда-то Аврааму, не удержал его руки, и как бы сам Бог стал соучастником в этом детоубийстве человека...

Бывают звери, которые уничтожают, пожирают своих детенышей, заранее чувствуя, что их все равно ждет гибель. Эта звериная трагедия и вместе прозорливость, помимо повеления свыше, таит в себе глубокий смысл для человеческой природы: зверь уничтожает свой помет тогда, когда родившиеся детеныши не только не видели света, но и не успели понять боли истребления. Кроме того, зверь, уничтожая эти куски мяса, может быть, бессознательно обеспечивает появление на свет более здоровых и жизнеспособных экземпляров. Какова же трагедия у человека, даже и безумного в своем отчаянии, когда он умерщвляет своих детей, много лет лелеянных, оплаканных, и, убивая их, знает, что убивает в себе самое бессмертное, самое бесценное — убивает душу, Бога, веру, все надежды, весь духовный мир.

Это не цинично-меркантильный маркитант Ландрю, сын цивилизованного безбожья, развязный журналист и пошлый Дон-Жуан. Это русский полудиккий изувер, для которого вся его страшная жизнь только потому и была стерпимой, что он верил и в дьявола, и в Бога. И вот — он видит: умирает с голоду весь мир, вся Россия, пятый год восстала она брат на брата, и Бог отвернулся от нее, бросил, исстегал бичом засух всю землю, долгой мучительной смертью мучает его детей — его последнее сокровище... И поволжанин восстает против этой жестокости Бога с тупым ножом в руках. Не может вынести страдания детей, не может видеть их бездонного отчаяния, их широко раскрытых глаз, и убивает ножом или топором свой страх, свою бездонную жалость, свою душу — и идет к соседям заявить об этом просто и покорно, потому что сделал то, что попустил Сам Бог.

И Бальмонт в «Змее» своим за год раньше предсказал это, и не только предсказал, но и оправдал.

Я верую во власть и чару Змея.

Через него на утре бытия

Открылось мне, что яркий возглас «Я!»

Есть меч благого, хоть и нож злодея.

И вот я спрашиваю вас: свести вместе Бальмонта и этого мужика — они поймут друг друга, поймут, потому что оба, один — от подвига и одиночества духовного, другой — от преступления

и голода физического, пришли к одному Змею, дальше которого все равно нет никуда путей — пустота и бессмыслие. Пропать.

И как это могло случиться, что миллионы полудиках и дремучих мужиков, именуемых в общей массе [чернью], могли дать темы Пушкину, и Льву Толстому, и Достоевскому, и Нестерову, и Римскому-Корсакову, и, наконец, Бальмонту и многим другим для их божественных творений? Как это так могло случиться, что звериная, греховная, кошмарная стихия русская могла напитать их души таким религиозным экстазом?

Вот здесь и начинается то непостижимое, куда религиозный человек не пытается проникнуть, потому что это уже область запредельная для мозга человеческого, и в этой запредельности — Сам Бог.

Вот почему я думаю, что Бальмонт, как и Лев Толстой, как и Достоевский, Васнецов, Чайковский и многие, многие пророки и подвижники России, — является ангелом-хранителем мысли как религии, благодаря которому только и может спастись мир. И вот почему я спешу от имени читателя сказать еще живому, не замученному и не распятому поэту Бальмонту — Аллилуйя!

«НАМ НУЖЕН БАЛЬМОНТ ВО ВСЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

В этом году культурная общественность страны отмечает 150-летие со дня рождения известного русского поэта, писателя и переводчика, представителя Серебряного века Константина Дмитриевича Бальмонта (1867–1942). Его имя, как символика, хорошо известно в кругах любителей поэзии. Он был дружен со многими собратьями по перу. Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Максимилиан Волошин посвящали ему свои стихи. Путешествуя по всему миру, Бальмонт открыл русскому читателю богатство национальных литератур народов Мексики, Египта, Индии и Океании. Ему принадлежат поэтические переводы космогонических мифов американских индейцев, древнеиндийских Упанишад, драм Калидасы. Он принял Февральскую революцию 1917 года, но отверг большевиков с их революционным пафосом и интернационалом. Через несколько лет, в мае 1920-го, изнемогая от голода



Дорогому другу с сердечным приветием
Георгию Дмитриевичу Гребенщикову
отъ илюминация 1920
Париж. 1920. 11.6. К. Бальмонт.

и безысходности жизненных обстоятельств, поэт получил разрешение на отъезд из Советской России. Вместе с семьей добрался до Франции, где начался период жизни в эмиграции.

В Париже Бальмонт оказался в среде русских зарубежных писателей, близко сошелся с Иваном Шмелевым, Александром Куприным, Борисом Зайцевым. Тесные братские узы — творческие и человеческие — связали его с Георгием Дмитриевичем Гребенщиковым (1883–1964). В течение полутора лет поэт жил на берегу океана в Бретани и лишь изредка выезжал в Па-

риж, чтобы устроить свои литературные дела. В такие короткие поездки он всегда посещал Ивана Бунина, неперемного участника литературных фондов, оказывающих материальную помощь бедствующим писателям. Возможно, в один из таких визитов он встретил там Гребенщикова. А когда надолго обосновался во французской столице, то уже часто встречался с пленившим его душу сибиряком. Начиная с конца 1922 года, «сибирский друг» и вовсе часто упоминается в письмах Бальмонта. Вот одно из них: «С Гребенщиковым у меня настоящая дружба. Мне нравится, когда он, полузакрывая глаза, как лесной зверь, погружается в далёкие воспоминания детства и юности в Сибири» (11.03.1923). В свою очередь Гребенщиков напишет в письме 1936 года: «Как никогда, нам нужен Бальмонт во всех измерениях».

Георгий Гребенщиков, откликаясь на дружбу, высоко ценит творчество поэта, считает его носителем драгоценного дара божия. Посвящает ему очерки и рецензии: «Одна из тайн», «Бальмонт», «Марево». В большом эссе на одиннадцати печатных страницах размышляет над поэмой Бальмонта «Змей», опубликованной в «Современных записках» (1920, кн. 2). В благодарность поэт в качестве ведущего принимает участие в творческом вечере Гребенщикова, который состоялся 30 октября 1923 г. в парижском отеле «Мажестик». На вечере за председательским столом восседали также Рерих и Куприн. Вскоре образовано книгоиздательство «Алатас», где директором состоит Гребенщиков, а в апреле 1924-го писатель покидает Францию навсегда, чтобы поселиться в Америке. Он предлагает своему другу издать сборник стихов «Линия лада». Сборник подготовлен к печати, выплачены гонорары, но издательские дела не могут набрать обороты и публикация откладывается на неопределённый срок из-за финансовых трудностей. В эмиграции русские книги постепенно перестают читать.

Письма летят через океан, и со временем узы друзей лишь крепнут. В очередном томе Гребенщикова из эпопеи «Чураевы» — «Сто племён с единым» — Бальмонта восхищают строки о «голубой подкове небосклона». Он читает роман с упоением несколько раз, и в итоге рождается поэма «Голубая подкова» с посвящением другу, «проникновенному сказителю». А ещё были стихи «Хрустальный терем», «Тебе, суровый сын Сибири...», «Рубится дом довре-

менный» и др. Снова возникает замысел издать в «Алатасе» книгу стихов Бальмонта о Сибири. Новая попытка оказалась удачной. В 1935 г. Гребенщиков печатает сборник «Голубая подкова» на свои собственные средства. Это дар сердца и признание безусловных заслуг поэта перед Россией и великой русской литературой.

Публикуемая подборка из 12 писем — лишь фрагмент обширной переписки Константина Бальмонта и Георгия Гребенщикова, та часть, где речь идёт о сборнике стихов «Голубая подкова». Она датируется 1934–1937 годами. Переписка хранится в американском Центре по изучению истории эмиграции Университета штата Миннесота, несколько писем публикуются по копиям из архива публикатора, предоставленным частным собранием в Москве. Автор публикации приносит благодарность хранителям архивов за возможность сделать письма достоянием общественности в юбилейный год Бальмонта.

Владимир Росов

Владимир Росов родился в 1954 году. Российский историк-востоковед, руководитель отдела «Наследие Рерихов» Государственного музея Востока (Москва). Автор монографии «Белый Храм на высоких горах. Очерки о русской эмиграции и сибирском писателе Георгии Гребенщикове» (2004). Член Союза писателей России.



Из переписки К. Д. Бальмонта
и Г. Д. Гребенщикова

1. Бальмонт — Гребенщикову

Клармар. 1934. 7 марта

Дорогой друг Георгий Дмитриевич,

Ваше дружеское письмо от 14-го февраля совсем вернуло мне прежнее мое ощущение от Вас, которое, в сущности, никогда ведь меня и не покидало. Если между нами все-таки еще есть и будут разные несогласия, что ж, тут уж ничего не поделаешь. Тут прав Ваш милый Кондратий: «Хоша промеж стариков и было некое перекосердие...»¹. Да и есть ли какое меж нами перекосердие? Сомневаюсь.

С большим сочувствием и торопливо я прочел Ваш «Трубный глас»² впервые. С гораздо большим наслаждением и с медлительностью умышленно читаю Ваше «Сто племен с единым», эту книгу я уже читал, и конец мне остро врезался в память. Но когда я ее читал, не знаю. Может, перед отъездом из Капбретона³, трагическим? В декабре 1931-го года? Могло это быть? Помню, что читал спешно, мысли были в другом месте, но величественное противопоставление киргизов и казаков в этой исполинской раме беспощадной природы врезалось мне в память неизгладимо. Читаю заново, словно в первый раз, и еще только в 4-й главе. Напишу подробно, прочтя все. Ваша хватка, Ваше чувство, Ваша отдельность от литературничающих писателей, Ваше земное, утробное, крестьянское, киргизское — якутское — бурятское — татарское — алтайское мне всегда, Вы помните это, было дорого, и от некоторых Ваших страниц во мне мое собственное, по матери монгольское, вздрагивает, дыбится и молча ликует.

Сделаю несколько осудительных замечок, верней, полезных указаний. <...> Но все недочеты и недостаточная насыщенность повести для меня теряются перед ее живостью, занимательностью, местами — истинной силой. Рассказ об избиении Колобова⁴ нельзя читать без глубокой захваченности. Вся 2-я половина повести написана с художественным увлечением. А там, где Вы приникаете к природе, у Вас вырываются подлинные жемчужины. Стр. 56: «в этих минутах, залитых родимым солнцем, зелено-голубых от леса и небес...» Друг, да ведь это бесподобно! Это целая поэма. Это проникновение в тайноведение. Этот отрывок вместе с отрывком из «Сто

племен», на стр. 46: «Неоглядная равнина от стальной, далекой щетины леса до голубой подковы небосклона пылала белым прохладным пламенем». Нет, у меня нет слов для восторга. Я молча подхожу к Вам, обнимаю и целую Ваш умный лоб. Я напишу поэму «Голубая подкова» и посвящу ее Вам. Это исторгнуто из той же глубины, из которой возникли сибирские, монгольские легенды.

Спасибо за добрые чувства и немедленное действие — письмо Ваше в Литературный фонд⁵. Верно, что-нибудь пошлют, а насколько это мне нужно, можете усмотреть хоть из того, что вот письмо я Вам написал, а отправить не могу, нет марок. Подожду. Бывает у меня нередко такое дивное состояние моей казны. В Капбретоне легче было переносить такую скудость. У меня был дивный сад, мною разработанный. Во всем Капбретоне ни у кого не было таких могучих перевязей вьюнков, таких пышных настурций, таких могучих, в полторы сажени ростом русских подсолнечников. Прохожие постоянно останавливались, zalюбованные. И там свист синицы — лучше звука и бодрее трудно найти среди птичьих голосов — сразу вливал в меня жизнерадостность. Пришлось бросить все это и переехать сюда, чтоб не дать погибнуть несчастной Мирре⁶ с двумя девочками, перебивающей со дня на день.

Пока прощайте. Татьяне Денисовне⁷ низкий поклон. Напишите мне, что за несчастье с автомобилем было с Вами⁸. И над чем сейчас работаете? Я готовлюсь в апреле прочесть в Париже лекцию: «Любовь и ненависть, два в сердце острия»⁹.

Всего, всего Вам лучшего.

Ваш К. Бальмонт

Р. S. 8 марта — Ну, вот это я люблю. — Вчера написал в Америку это письмо, а сегодня письмо из Америки — любезное письмо из Америки от Литературного фонда, и при нем чек на 20 долларов. Выходит дело прямо по-американски.

Значит, и марки у меня, и много больше, чем несколько марок. Спасибо Вам, добрый Вы друг. В душе рождается весна, когда чувствуешь, что о тебе заботятся.

Р. Р. S. Ел<ена> К<онстантиновна>¹⁰ просит кланяться и сказать, что ей хочется, чтобы ее выписали в Чураевку¹¹ и подарили ей там домик. Гм! желание совсем недурное. И меня бы тоже, в качестве гусяра.

Публикуется по авторизованной машинописи (АМ), постскрипtum — автограф. — 2 л. — Частное собрание (ЧС), Москва; текст письма по копии из архива публикатора.

1. К. Д. Бальмонт цитирует слова Кондратия Чураева, героя эпопеи Г. Д. Гребенщикова «Чураевы», том V: Сто племен с единым. Southbury: Alatas, 1932; гл. 3, стр. 62.

2. Гребенщиков Георгий. Чураевы. Том IV: Трубный глас. Southbury: Alatas, 1927. — 128 с.

3. В ноябре 1926 Бальмонт поселился на берегу океана в Капбретоне, расположенном неподалеку от Оссегора, где в летний сезон проживал писатель И. С. Шмелев с супругой. Бальмонт с супругой находился в Капбретоне до осени 1932. Вероятно, он называет год «трагическим» из-за начальных симптомов заболевания (психическое расстройство). Речь идет о 1932 году.

4. Герой эпопеи Гребенщикова «Чураевы», энергичный деловой человек Андрей Саватиевич Колобов олицетворяет собой купеческую Сибирь.

5. В 1930-е К. Д. Бальмонт неоднократно получал денежную помощь от американского Литературного Фонда (Fund for the Relief of Men of Letters and Scientists of Russia), организованного в 1918 при участии газеты «Новое русское слово» в Нью-Йорке для помощи русским писателям и ученым в эмиграции. Председателем Фонда был Марк Ефимович Вильчур (1883–1940). Именно от него Бальмонт получил письмо, о котором пишет в постскриптуме.

6. Мирра Константиновна Бальмонт (по мужу Аутин/Aoutine) (1907–1970), дочь К. Д. Бальмонта и Е. К. Цветковской. В письме речь идет о переезде из Капбретона в Кламар, расположенный под Парижем.

7. Татьяна Денисовна Гребенщикова (в девичестве Стадник, по первому мужу Давыдова) (1892–1964), вторая жена писателя Г. Д. Гребенщикова (с 1917). Родилась в Тифлисе. Получила образование в частной гимназии в Харбине. До начала Первой мировой войны работала в компании «Зингер» в Хабаровске. Во время войны состояла на службе в Управлении уполномоченного Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам при XI армии в качестве помощницы делопроизводителя и машинистки (1917–18). В 1920 вместе с мужем эмигрировала в Константинополь, в 1921 — в Париж, в 1924 — в Нью-Йорк. Помогала вести дела книгоиздательства «Алатас». Преподавала во Florida Southern College (Lakeland) основы типографского дела и возглавляла типографию «Dixie Press».

8. Во время тура лекций Г. Д. Гребенщикова в Калифорнии произошел несчастный случай. 18 февраля 1933 в Голливуде, на центральной площади города писателя сбил автомобиль, в результате чего он попал на больничную койку и пролежал несколько месяцев без движений (перелом ноги, повреждение глаза и проч.). Происшествие широко освещалось в русскоязычной эмигрантской прессе.

9. Лекция К. Д. Бальмонта «Любовь и ненависть — два в сердце острия» (Испания, Россия, архаический Восток, классическая Эллада, итальянское и грузинское средневековье) состоялась 24 апреля 1934.

10. Елена Константиновна Цветковская (1880–1944), гражданская жена К. Д. Бальмонта (с 1905), жила с ним в эмиграции во Франции.

11. Гребенщикова через некоторое время после приезда из Франции в Америку поселился в Саутбери (Southbury), штат Коннектикут, примерно в 75 милях от Нью-Йорка. Он купил землю у Ильи Толстого, сына Л. Н. Толстого, и выстроил дом собственными руками, а затем и часовню святого Сергия Радонежского. К началу 1930-х в Саутбери возникло поселение эмигрантов, названное русской деревней «Чураевкой».

2. Бальмонт — Гребенщикову

Clamart. 1934. 12 мая

Дорогой Георгий Дмитриевич,

Вы опять заставили меня пережить целую поэму. Третьего дня, ночью, я перечитал мои любимые страницы превосходной Вашей повести «Сто племен с единым». Снова сердце сжималось и билось. И снова брызнули у меня слезы из глаз. Но это были уже счастливые капли росы. Радость творчества. В 11 часов ночи я начал писать «Голубую подкову», в полночь пил чай с Еленой Константиновной, в половину второго поэма была кончена. Два часа душевного и духовного полета. Спасибо, алтайский друг!

Сегодня утром, в ярком, жарком полудне перечел поэму и вписал еще 3-ю и 4-ю строфу. Оттого и пометил ее сегодняшним днем. Пошлю ее в «Последние новости». Быть может, хорошо бы присоединить к ней прежние мои посвящения Вам и 10–12 моих стихов о Сибири («Вскрытие льда на Амуре», «Медведица» и др.), напечатать книжечку страниц в 16–20. Возможно? Рассмотрите сие.

Известили меня из Болгарии, что какое-то наглое издательство в Нью-Йорке выпустило самовольно какую-то книгу моих рево-

люционных стихов¹, перепутав их с чьими-то виршами, и рассылает эту гадость в болгарские и югославские гимназии. Это большая низость. Прошу Вас и Тульпу², и Русский союз писателей в Нью-Йорке заступиться за меня, возбудить преследование против бандитов и добиться уничтожения этой книги. Очень прошу. Если нужно написать какую-нибудь формальную бумагу, прошу, научите меня, как это сделать.

Спасибо за хороший портрет. Но какой Вы суровый на нем! Я люблю, когда Ваше лицо ласково.

Привет Татьяне Денисовне.

Дружески обнимаю Вас,

Ваш К. Бальмонт

Публикуется по автографу. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Имеется в виду сборник: Бальмонт К. Д. Избранные стихотворения. Нью-Йорк: изд-во М. Гуревича, 1920. Впоследствии Бальмонт писал, что в этот сборник издатель добавил вставки из его «художественно-убогой революционной книжки» под названием «Песни мстителя» (1907).

2. Тульпа Леонид Васильевич (1893–1972), педагог, поэт, писатель, иконописец, скульптор. В эмиграции в США с 1919. Секретарь Общества распространения полезных знаний среди эмигрантов. От имени Общества выступал с лекциями в американских школах и университетах (более 400 лекций). Состоял в дружбе с Гребенщиковым и Бальмонтом. В течение 1915 г. был домашним учителем у Нины Бальмонт-Бруни, старшей дочери поэта.

3. Бальмонт — Гребенщикову

Клармар. 1934. 26 июля

Дорогой Георгий Дмитриевич,

Ну вот, много раз пересмотревши все свои памятные книжки, я выбрал 19 наилучших стихов своих, связанных с моими странствиями по Сибири и моими мыслями о ней. Самыми сильными из них, на мой взгляд, являются «Оконце» и внушенная Вами «Голубая подкова», давшая название всей книжке, а из меньшего размера стихов я более всего люблю «Над Байкалом», «Вскрытие льда», «Лестница сна», «Бубен», «Златорогий», «Русский язык» и «Моя любовь».

Буду счастлив, если эта книжка, как раз на два печатных листа, будет набрана и выпущена возможно скоро. Корректуру, уже раз в типографии проверенную, непременно пришлите мне, и, верно, понадобится прислать ее дважды, ибо я не подписываю к печати корректуру, в которой есть 2–3 погрешности. Раза три в жизни пришлось поневоле изменить этому правилу — и получилось проклятие.

Из грустной экономии посылаю не заказным письмо, а простым. Надеюсь, что не пропадет.

Как Вы? Как здоровье? Пишете ли что? Что делает Ваша Чураевка? Мы в небытии.

Однако стихи нет-нет да поются.

Привет.

Ваш К. Бальмонт

Публикуется по АМ, последняя строка и подпись — автограф. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

4. Гребенщиков — Бальмонту

3 окт<ября> 1934

Дорогой Константин Дмитриевич.

Наконец набрали и посылаем Вам Вашу книжечку. Один из лучших художников в Холливуде сделал иллюстрацию Чубека¹. Поместим ее, вероятно, на обложке. Особенной техники от нас не требуют. Все делаем своими руками с женой, ибо нет средств. Второй корректуры тоже не ждите, ибо в начале ноября закроем типографию: она не приспособлена для работы зимою.

Прилагаю маленький чек на сто франков в виде небольшого аванса за книжку. Остальное пришлем Вам частью книжек. У меня что-то накопилось в «Иллюстрированной России»², и потому могу послать эту толику. Хотелось бы устроить Вам здесь вечер, но даже Тульпу не могу раскатать помочь мне. Все остальные просто мертвы. Жить в Нью-Йорке и готовить там вечер для нас самих будет стоить денег, а результаты гадательны, но все же что-то придумаем, чтобы Вы не думали, что Вы одиноки. Ради Бога, не унывайте: это Вам не идет. Вы светел, как солнышко, и от Вас мы должны погреться. Изумительной красоты Ваше слово. Читаешь корректуру и не-

вольно пропускаешь ошибки, потому что зачитываешься красотой строк Ваших. Как подл мир, который глух к такой вечно юной песне. Да, мы постарается все стихи первого присыла вместить в книжечку. Надо ухитриться. Стихи второго присыла не сможем вместить.

Послал я Вам через Плевицкую³ своего «Царевича»⁴ и трепещу от страха перед судом Вашим.

Обнимаю Вас и целую ручки дорогой Елене Константиновне.

Татьяна Денисовна кланяется. Это она, кто ведет главную работу по книжке. Верите ли — сама научилась набирать на линотипе, сама верстает, сама переплетает книги. Без нее бы типография не могла совсем работать. Я, конечно, помогаю, но у меня миллион других обязанностей и забот. Вы, европейцы, совершенно не представляете нашу здесь жизнь.

Публикуется по АМ. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Гребенщиков подразумевает художника В. Ф. Ульянова, сделавшего рисунок Чубека, персонажа романа «Чураевы», который упомянут в поэме Бальмонта «Голубая подкова».

2. Гребенщиков имеет в виду денежные средства от гонораров за публикации в «Иллюстрированной России», в частности, журнал опубликовал в тот год отрывки из его эпической сказки «Царевич» (ИР, 1934, № 9) с иллюстрациями художника В. Ф. Ульянова.

3. Плевицкая Надежда Васильевна (1879–1940), русская певица, исполнительница народных песен и романсов. В эмиграции — во Франции. Состояла в дружбе с Г. Д. Гребенщиковым.

4. Гребенщиков послал Бальмонту для ознакомления свою рукопись сказки в стихах «Царевич». Впоследствии она была издана в издательстве «Алатас» под названием «Златоглав» (1939).

5. Бальмонт — Гребенщикову

Clamart. 1934. 13 окт<ября>

Дорогой Георгий Дмитриевич.

Спасибо Вашей умнице Татьяне Денисовне за хорошо набранные корректуры «Голубой подковы». А что она не хорошо делает? Золотые руки.

Спасибо Вам за 100 франков. Хлеб насущный. Когда будете посылать мне книги, пожалуйста, пошлите их пачками по почте. Иначе на таможене меня обдерут, а я уже и так скуден весьма.

На днях собираюсь написать Вам подробнее. Сейчас и сердце, и мысль растерзаны гибелью прекрасного короля Югославии, Александра ¹.

Корректуры вчера и сегодня прочел и 3, и 4 раза.

Плевицкая таит еще Вашего «Царевича», и я его еще не видал.

Приветы.

Ваш К. Бальмонт

Публикуется по автографу. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Речь идет о трагической смерти короля Югославии Александра I Карагеоргиевича (1888–1934), убитого в Марселе 9 октября 1934 боевиком македонской террористической организации.

6. Гребенщиков — Бальмонту

22 янв<аря> 1935

Дорогой и Светлейший Друг мой, Константин Дмитриевич.

Знаю, как Вы недовольны нашей медлительностью, но скоро сказка говорится, да дело мешкотно творится. Даже Вы, родной мой, пропустили целый ряд ошибок, так что если еще что найдете в книжке, не сердитесь, но сделали все, что было в наших силах. Чтобы придать книжке некое движущее на рынок качество, специально просили нашего талантливейшего Ульянова¹, живущего в Холливуде, дать пару пейзажей Сибири. Прошу любить да жаловать. Если не примете к своей поэме — примите как иллюстрации к «Чураевым». Печатали мы 500 экземпляров и Вам, кроме посланных 100 франков, отчисляем 10% натурой. Так что Вы получите 50 книжек и можете их продавать по 25 американских центов. Парижский рынок поэтому за Вами, мы не будем посылать, пока всего не распродадите или не раздарите. Была у меня мысль устроить Вам вечер, но чую, что это будет себе дороже стоить. Как Вы заметите, в книжке оказалось не 32, а 48 страниц. Теснить не хотели, было бы некрасиво. А так вышли из сметы, но не жалеем. От всего сердца хотели

192

услужить великому Солнышку русской и мировой поэзии. Напишите нам Ваше суждение, и, может быть, сами пошлете кое-каким газетчикам. Мы, со своей стороны, то же сделаем здесь в Америке.

Обнимаю Вас от всего сердца и часто вдыхаю аромат Сибири из дивных творений Ваших. Великую честь Вы оказали нашей далекой окраине, имеющей, однако, великое грядущее. Рады были и мы послужить через Вас Стране великого будущего.

Привет дорогой Елене Константиновне.

Публикуется по АМ. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Ульянов Всеволод Федорович (1880–1940), русский художник (живопись, графика, монументальное искусство) и педагог. Преподавал рисунок, черчение, стилизацию в Екатеринбургской художественно-промышленной школе. В эмиграции — после 1918, с 1920 жил в Лос-Анджелесе, где имел собственную студию. Занимался росписью интерьеров общественных зданий. Сотрудничал с Гребенщиковым по оформлению книг, выпускаемых издательством «Алатас».

7. Бальмонт — Гребенщикову

Клармар. 1935. 27 февраля

Дорогой друг мой Георгий Дмитриевич.

Передо мною «Голубая подкова»¹, я снова и снова на нее радуюсь...

Спасибо Вам, дорогой, что осуществили Вы сие дело и выковали «Подкову». Когда я получил пакет и раскрыл эту книжку, сердце у меня дрогнуло, и радостно я снова очутился на дивном берегу Байкала, и в Хабаровске, и дальше еще, на берегу Тихого океана, и в имении Янковских² (Шевелева-Янковская Маргарита, Дэзи³ — мой друг, а видел ее впервые в Москве у Сабашниковых, 13-летней девочкой, в 1898-м году) — на полуострове, в «Сидэми», где любовался на стада звездных ланей и оленей в 3000 голов — позднее, когда семья убежала в Корею, оленей было 6000 голов, а сколько волшебных коней! (Вороной жеребец, с волнистой, точнее — лоснистой шерстью и с именем «Струя», когда его для меня два конюха вывели из конюшни на двор, держа красавца, как на поводу, на двойной железной цепи, — вижу его и доселе! И мне, и Елене показалось,

что он выше жирафа, что голова красавца достигает неба, что это и есть волшебный конь всех русских сказок.) Прошу Вас, пошлите Маргарите Шевелевой-Янковской экземпляр «Голубой подковы» с хорошей надписью от Вас: сибиряк сибирячку сумеет уважить. Ее адрес: Madame Marg. Yankovsky. Import and Export. Seishin. Korea.

Те лица (к поэзии тонко чувствительные), коим я подарил лично или послал по почте по экземпляру, уже успели сказать или написать мне, что любимая их, конечно (все как сговорились): «Голубая подкова», Вам посвященная, «Тринадцать», посвященная Тульпе, и «Русский язык».

Признательный мой привет драгоценной спутнице Вашей жизни. Преуспевайте — и будем ждать. Пожалуй, открытая дорога в вольную Сибирь, у которой могучее будущее, не за горами теперь.

Дружески обнимаю Вас,

Ваш К. Бальмонт

P. S. Картинки Вс. Ф. Ульянова (жаль, что их не больше) совсем недурны. Жаль только, что он не вник в подписи. Против текста у него в действительности в его картинках не Уйби-Кута, а Чубек⁴ — уходит на войну. Уйби-Кута у него, хоть не мчится на лыжах, все же довольно поспешает. Этого Ульянова (верно, это он?) Елена Константиновна помнит по Парижу, а я — по Екатеринбургу.

Публикуется по АМ, конец письма и постскрипту — автограф. — 1 л. ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

1. Бальмонт Константин. Голубая подкова. Стихи о Сибири. Southbury: Alatas, 1935. — 48 с. Иллюстрации художника В. Ф. Ульянова. Обложка художника И. Ф. Замотина.

2. До революции 1917 г. имение «Сидеми» (в наст. время — селение Безверхово, Приморский край, РФ), известное как «Дом-крепость», принадлежало предпринимателю и селекционеру Михаилу Ивановичу Янковскому (1842–1912), устроившему знаменитое фермерское хозяйство (фруктовые сады, плантация женьшеня, разведение лошадей и пятнистых оленей). Унаследовал дело отца его сын Юрий Михайлович Янковский (1879–1955), который был женат на Маргарите Михайловне Шевелевой. После революции Янковские переселились в Северную Корею, организовав там имение «Новина».

3. Янковская Маргарита Михайловна (урожд. Шевелева, домашнее имя — Дэзи) (1884–1936), домохозяйка, дочь М. Г. Шевелева, известно-

го на Дальнем Востоке востоковеда и предпринимателя, владельца первой на Тихом океане русской пароходной компании. Образование получила в Москве под опекой родственницы, М. А. Сабашниковой (урожд. Андреевой), которая собирала в своем доме поэтов-декадентов, среди них — Максимилиан Волошин, Константин Бальмонт, др.

4. В романе «Чураевы» Гребенщиков выводит народных героев — тунгуса Уйби-Кута и енисейца Чубека — и наделяет их чертами северных сибирских богатырей.

8. Гребенщиков — Бальмонту

17 июня, 1935

Дорогой и светлый Друг мой, Константин Дмитриевич,

Случайно узнавши из писем своих парижских друзей о Вашем недуге, я немедленно ударил тревогу. Переписку, часть ее, в копиях прилагаю. Сам я не могу принять на себя организацию вечера в Вашу честь не только из-за своих материальных нужд, но чтобы избавиться от излишних нареканий и чтобы все было под контролем нашей общественности. Результаты пока неутешительные, так как вечер находят сейчас запоздалым по случаю наступившей в Нью-Йорке жары, но 20 долларов, в первую очередь, Вам сейчас же посылаю. Буду добиваться, чтобы и моральная, и материальная поддержка была Вам оказана. Во всяком случае, Вы должны знать, что Вас здесь чтут и любят и что Вы не одиноки в наше ужасное и подлое время равнодушия к нашим великим национальным гениям. Будьте бодрь, поправляйтесь и верьте, что мы с вами.

Шлем привет и любовь Вам и дорогой Елене Константиновне.

Публикуется по АМ. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребенщиковых. Кор. 11, папка 3.

9. Бальмонт — Гребенщикову

Thiais-Seine, av. Panhard, 60-70

1936. 1 декабря

Дорогой Друг Георгий Дмитриевич,

Здравствуйте! Как Вы? Как Ваша прекрасная и верная спутница дней и трудов, неутомимая Татьяна Денисовна?

Где Тульпа? Как его семья и работа?

Как Ваша прекрасная многотомная Легенда Истой Руси¹, Истинной России? Если Вы напечатали новые томы ее, пришлите. Вы знаете, что я большой и верный почитатель Вашего живого, бодрящего творчества, свежего, как горный ключ.

Шлю Вам «Хрустальный терем»². Не посылал его до сих пор, ибо сомневался в его поэтических достоинствах. В нем, конечно, более намерения, чем достижения. Но чем богат, тем и рад послужить Вам. Другие посылаемые здесь стихи цельнее вылились у меня. В них как раз и нет преднамеренности. Откликнитесь хорошим дружеским письмом — не сомневаюсь, что Вы это быстро сделаете — я тотчас откликнусь новыми песнями-цветами.

Елена Константиновна шлет ласковые приветы Вам обоим. Я Вам желаю счастья и братски обнимаю.

Ваш К. Бальмонт

Публикуется по автографу. — 1 л. — ЧС, Москва; текст письма приводится по копии из архива публикатора.

1. Бальмонт имеет в виду эпопею Гребенщикова «Чураевы», шестой том «Океан багряный», который вышел из печати в декабре 1936 г.

2. К письму Бальмонта приложена машинопись стихотворения «Хрустальный терем», посвященного Г. Д. Гребенщикову.

К письму от 1 декабря 1936 г.

ХРУСТАЛЬНЫЙ ТЕРЕМ

Посвящается моему другу, проникновенному сказителю
Георгию Дмитриевичу Гребенщикову

1

Какая странная игра!
Проснулся — в теле онеменье,
В уме — немое обомленье,
Весь мир — молчащая нора...
Пришла Сибирская момра —
Темь, сумрак, мрачное плененье,
И пасмурное ущемленье,

Ум уязвлён, на мне — гора...
Как Сибиряк, воскликнуть: «Мама!»,
Когда с овчинку Небо мне?
Я в мглистой, слизистой волне...
Раскрыть окно? В слезах вся рама...
Ах, язви-те... Да я во сне?
Оглох — от внутреннего гама!

2

Вдруг взвыл я — «Мома» вместо «Мама»!
«Не все, брат, дома. Не пойму —
Изображаешь ты «Муму»?
Сия нам повесть век знакома...
Твоё изображение хромо,
Я лучше знаю вьюгу, тьму,
Всю дьявольскую кутерьму,
Сибирских страхов, где я дома!»
Хвала Творцу! Гребенщиков!
Писатель слов, а не трезвона,
Писатель — Слово. Как с амвона,
Роняет он звон сочных слов,
Ядрёных зерновых комков...
Тебе — Лазурная Корона!

3

Вновь снится мне могучих таинств лоно,
Великая, безбрежная Сибирь...
Какая даль и глубь, и высь, и ширь!
Байкал... Со дна его — разгуды звона...
Наш Китеж не погиб... С Днепра и с Дона,
И с Терека несётся вопль: «Упырь
Всё жив — его навек утихомирь —
И Голубая возгорит Корона!»
Заимок много... Знаю — жив Алтай...
О, Божий Камень! Алатас! Икона
Родная — всё с тобой. Тут счастья край,
Твоё да будет имя в зыбях звона!
Твоё раденье — в Небе. Да всегда
Тебя ведёт — Лазурная Звезда.

Лазурные я вижу города,
В них свет — насквозь, но жить спокойно можно.
Молясь, любя, ласкаясь бестревожно;
Они — дворцы резные — как из льда.
Из хрусталя... В них не придёт Беда,
Ни язва, ни чума, и ни момра... Неложно
Лишь край Родной любя, молись! Безбожно
Живущий — мёртв. Нам — Божия Звезда!
Одна Звезда святого Вифлеема —
Господень Свет — не меркнет никогда...
Спроси сейчас, не глухо и не немо:
«Сегодня воссияет?» — «Друг! О, да!»
«Сегодня — тем, в ком яркий свет сегодня,
В ком помощь, радость и любовь Господня!»

К. Бальмонт

1936. 3 сентября. 1 ч. д. Седые туманы. Тиаис

10. Гребенщиков — Бальмонту

8 декабря, 1936

Светлейший мой и любимейший Друг и Отец,

Вы не можете себе представить, как мы ребячески радуемся сегодня, получивши от Вас такое славное и давножданное письмо. Ведь столько времени не получали. А у меня на столе уже несколько дней лежит Ваш адрес, я собирался писать, так как только что вышла шестая (наконец-то) книга «Чураевых» и Вам назначен 9-й ее экземпляр. И вот радость пришла. Жив, здоров, молод как всегда, наш Бетховен Слова... Обнимаю Вас и молитвенно протираю к Вам все мои лучшие мысли и благопожелания.

А мы замotalись, замotalись... Нет мочи от изнеможения и окружающей полной тупости. Ничего светлого и истинно культурного никому не нужно. Никаких больших идеалов ни у кого нет, и мир идет в пропасть. Толчемся на пяточке с пяточковыми интересами. При всем моем оптимизме не могу скрыть своего опасения

за судьбы русской эмиграции: она распадается, сама себя пожирает и медленно подпадает под влияние победителей. Как никогда, нам нужен Бальмонт во всех измерениях. Пушкинские дни начинают выводить кое-кого на путь хотя бы воспоминаний. Приятно Вам послать страницу журнала «Таймс», где упоминается Ваше имя. Упоминается оно и в Советской России. Все это знаки отрезвления.

Книжка Ваша, как и наши, совсем не идет. Рассылаем кое-кому в подарок. Пошлем скоро и Вам. Может быть, продадите, вместо Рождественского подарка от нас... Но вот мы вытянулись в струнку и своими силами и руками выпустили 6-й том¹, залезли в невылазные долги. Книга пока спрашивается слабо, а раньше на нее было много заказов, которые теперь трудно восстановить. Не отчаиваемся и продолжаем стоять на своей скале, на рифе... Авось, не смоет. Нынче я приглашен на три большие лекции в Чикагский университет — 19, 20 и 23 января. Буду говорить о Пушкине² (и о Вас вставлю словечко), о Сибири и о своих приключениях в жизни. Набрался наглости и, как увидите из прилагаемой статьи, даже нравлюсь наиболее изысканным слушателям.

Итак, буду ждать от Вас суда над «Океаном Багряным». Татьяна Денисовна сердечно кланяется вместе со мною дорогой и испытанной подруге Вашей Елене Константиновне.

Публикуется по АМ. — 1 л. — ЦИИЭ. Коллекция Г. и Т. Гребенщических. Кор. 11, папка 3.

1. Гребенщиков Георгий. Чураевы. Том VI: Океан багряный. Southbury: Alatas, 1936. — 196 с.

2. Лекцию об А. С. Пушкине, в связи со 100-летием со дня смерти поэта, Гребенщиков прочитал 20 января 1937 в Чикаго, в колледже Северо-западного университета.

11. Бальмонт — Гребенщикову

*Noisy-le-Grand, S. et O. Av. Chilperic, 26
1937. 10 января. Утро*

Дорогой друг Георгий Дмитриевич,

Мы уже целую неделю в новом обиталище. Тихо, уютно, красиво. И кормят сытно, и тепло, и относятся тепло, и заботятся, люди

честные. Вместо граммофона и трескучей сорочьей бабьей болтовни, размеренная беседа и воспоминания великой войны. За столом, в общей столовой, все военные, каждый 3–4–5–7 раз был ранен. Каждый день — военные рассказы — и словно мы без конца читаем, том за томом, ваш скорбный сказ.

«Океан Багряный» (ни пропавших писем, ни «Купавы»¹ я так и не получил) я дал прочитать перевезшему нас сюда в автомобиле полковнику Плесковскому², прошедшему лично все то, что Вы описываете в этой повести. Как мне нравится Корней (коренник — человек!). Боярыня, венчание, Наташа прелестная, Геннадий! А в очаровательную Августу я прямо влюблен. Все описание того, как Москва приняла весть о войне, — величественная симфония.

Шлю Вам ряд своих стихов. То, что окажется повторным и для Вас ненужным, прошу, пошлите от меня Леониду Тульпе.

Откликнитесь поскорее. Обнимаю Вас братски. Целую руки милой Татьяны Денисовны. Ел<ена> К<онстантиновна> шлет приветствия.

Ваш К. Бальмонт

Публикуется по автографу. Открытка. — 1 л. — ЧС, Москва; текст открытки приводится по копии из архива публикатора.

1. Гребенщиков Георгий. Купава. Роман художника. Southbury: Alatas, 1936. — 110 с.

2. Возможно, полковник Г. Плесковский — в эмиграции во Франции и Аргентине. Захоронен в Русском Военном некрополе (Буэнос-Айрес).

12. Бальмонт — Гребенщикову

*Noisy-le-Grand, S. O., av. Chilperic, 26
1937. 6 февраля. Утро*

Добрый друг Георгий Дмитриевич,

Только что получил Ваше письмо от 27 января из Чикаго¹. Привет Вашей энергии. Радуюсь Вашим радостям и справедливым успехам.

Посланные Вами русские газеты с моими и Вашими стихами своевременно получил и тотчас Вас благодарил за них, как и за посылку 10-и экземпляров «Голубой подковы». Еще раз спасибо.

Денег из газет не получал никаких. «Голубую подкову» с успехом читал здешней хозяйке, докторессе — монахине, матери Анастасии², хорошо Вас знающей, и всем раненым воителям великой войны, жителям здешнего Русского Дома отдыха, которые тоже хорошо знают Вас, кое за что, по-военному, подбранивают, но больше хвалят.

Я, отославши в Харбин книжку своих солнечных стихов «Светослужение»³, стихов более не пишу, а посему валяюсь, дремлю, курю, унываю, призываю на себя всякую погибель, но она нейдет.

Американский листок о Ваших Пушкинских вечерах отсылаю сейчас в «Последние новости», но не знаю, воспользуются ли они им для хроники. Милюков⁴ ведь холоден и к Вам, и ко мне.

Солнце светит теперь почаще. Может, воскресну. Елена Конст<антиновна> шлет приветы Вам и Татьяне Денисовне, коей драгоценные руки я почтительно и ласково целую.

Братски обнимаю Вас.

Сердечно Ваш,

К. Бальмонт

Публикуется по автографу. — 1 л. — ЧС, Москва; текст письма приводится по копии из архива публикатора.

1. Письмо Г. Д. Гребенщикова от 27 января 1937 — не обнаружено.

2. Булацель Александра Феликсовна (урожд. Шульгина, в монашестве — Анастасия) (1875–1953), медицинская сестра, инокиня. В эмиграции — в Греции и Франции. Управляла «Домом отдыха» для выздоравливающих русских больных в Нуази-ле-Гран.

3. Бальмонт Константин. Светослужение. Сборник стихов. Харбин, 1937. — 5 с. Последний сборник стихотворений, вышедший при жизни поэта.

4. Милюков Павел Николаевич (1859–1943), политический деятель, редактор парижской газеты «Последние новости».

Публикация Владимира Росова



Александр Куляпин

Родился в 1958 году в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Окончил филологический факультет Алтайского государственного университета. Доктор филологических наук, профессор. Автор более 150 научных публикаций, в том числе нескольких монографий. Живет в Барнауле.

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

Мыслители прошлого, обращаясь к вопросу о роли личности в истории, обычно вели спор исключительно о великих людях. Даже в тех концепциях, которые признавали значимость фактора случайности, непредвиденное вторгалось в ход истории через воздействие на личность всемирно-исторического масштаба. Хрестоматийным стал пример с кирпичом, сваливающимся на голову великого человека, вследствие чего ход мировой истории меняется.

Не обходится без пресловутого кирпича и Г. В. Плеханов, отстаивающий марксистскую точку зрения, согласно которой исторические события совершаются «сообразно известным непреложным законам». В статье «К вопросу о роли личности в истории» (1898) он рассуждает на тему возможности преждевременной гибели Робеспьера: «Если бы случайный удар кирпича убил его, скажем, в январе 1793 года, то его место, конечно, было бы занято кем-нибудь другим, и, хотя бы этот другой был гораздо ниже его во всех смыслах, события пошли бы в *том самом направлении*, в каком они пошли при Робеспьере» (курсив автора).

Роль случайных факторов, как известно, резко возрастает в зоне бифуркации. История в тот момент, когда социальная система теряет устойчивость, может оказаться в руках маленького

человека. Простейший способ воздействия на исторический процесс — устранение крупных политических деятелей. Маленький человек порой играет роль того самого кирпича, который падает на голову великого человека. Надо только учитывать, что «кирпич» этот — «мыслящий».

На рубеже XX–XXI вв. многие историки уже не разделяют уверенности Г. В. Плеханова, что в случае гибели лидера революции события пошли бы «в том самом направлении», в каком они пошли при нем. Растиражированная в постсоветской прессе история об ограблении Ленина бандой Якова Кошелькова заставила задуматься о путях развития страны без признанного вождя большевиков. В. А. Шенталинский, изучивший архивные материалы по делу Яшки Кошелькова, считает, что убийство Ленина действительно могло изменить основное русло российской истории:

«По прихоти случая судьба страны и всей мировой революции вдруг оказалась на мгновение в руках уголовного пахана...»

Конечно, машинист для паровоза революции нашелся бы. Не тот, так другой. Но ясно: наша история могла пойти совсем по иным рельсам. Как знать, устояла бы или нет советская власть в тот отчаянный для себя исторический момент без своего гениального вождя».

Курьезность происшествию придает то обстоятельство, что вечером 6 января 1919 года пересеклись пути двух самозваных хозяев Москвы. Революционер, прорвавшийся к власти в обход легитимных путей, немногим отличается от самозванца, а известный в уголовном мире под характерной кличкой «Король» Кошельков не чуждался и прямого самозванства. Например, столкнувшись однажды лицом к лицу с двумя чекистами, Яшка Кошелек представился заместителем председателя ВЧК Яковом Петерсом:

«Мгновенно преобразившись, Яшка грозно надвинулся на них:
— Кого ждете? Вы из какого отделения? Предъявите документы!»

— А вы кто? — опешили чекисты.

— Я Петерс, — не задумываясь, ответил Яшка.

Высокий, представительный, в серой шинели и меховой папаче, он произвел на чекистов гипнотическое впечатление: они покорно протянули ему документы — и получили в ответ пули».

Диалог Кошелькова с Лениным, зафиксированный в протоколах допросов членов кошельковской шайки, не лишен комизма именно потому, что это разговор двух самозванцев:

«— В чем дело? Я Ленин.

На это Кошельков ответил:

— Черт с тобой, что ты Левин, а я Кошельков, хозяин города ночью».

Яшке Кошельку не суждено было сыграть сколько-нибудь значительную роль в драме русской революции. Свой шанс перекочевать со страниц уголовной хроники в анналы истории он упустил. В одной из дневниковых записей Кошельков задним числом приписывает себе историческую миссию, но делает это неубедительно: «За мной охотятся, как за зверем: никого не щадят. Что же они хотят от меня, я дал жизнь Ленину».

Противоречивые чувства маленького человека, слишком поздно узнавшего о том, что история страны когда-то зависела от одного его поступка или даже слова, пожалуй, лучше всего описал Ф. Искандер в романе «Сандро из Чегема» (1973). Случайное столкновение на горной дороге мальчика Сандро со Сталиным вполне могло бы стать судьбоносным для них обоих, но не стало. Много лет спустя, уже после смерти Сталина, Сандро любит рассказывать об этой странной и страшной встрече с будущим диктатором, при этом слушателям трудно уловить смысл, который он вкладывает в свой рассказ:

«По взгляду его можно было понять, что, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по нижнечегемской дороге, вся мировая история пошла бы другим путем.

И все-таки по взгляду его нельзя было точно определить, то ли он жалеет о своем давнем молчании, то ли ждет награды от не слишком благодарных потомков. Скорее всего по взгляду его можно было сказать, что он, жалея, что не сказал, не прочь получить награду».

Поскольку сама возможность возникновения русской государственности Нового времени появилась благодаря подвигу Ивана Сусанина, для отечественной культуры наиболее продуктивным оказался сюжет не убийства, а спасения вождя.

В либретто оперы «Жизнь за царя» — бесспорно, самой знаменитой версии сусанинского мифа — барон Е. Ф. Розен очень

настойчиво внедрял мысль о законности избрания Михаила Романова царем. Иван Сусанин, выражая народные чаяния, поет в первом действии оперы: «Законный нам нужен Царь / И земля спасена!» Позже он и вовсе прямо провозгласит боярина Романова «законным Царем», а общий хор авторитетно подтвердит: «Законный Царь!» В ситуации Смуты важно не возвести на престол еще одного самозванца.

Фигура самозванца в изначальный сюжет сусанинского мифа никак не вписывается. Пушкинский Григорий Отрепьев в «Борисе Годунове» противопоставлен, скорее, Ивану Сусанину (хоть и был убит за семь лет до костромских событий), а не легитимному правителю, как можно было бы предположить. «Я в красную Москву / Кажу врагам заветную дорогу!..» — сокрушается самозванец в разговоре с князем Курбским.

Большевики предсказуемо попытались адаптировать сусанинский миф к послереволюционной эпохе, ведь Иван Сусанин совершил то, что без преувеличения можно считать подвигом № 1 в отечественной иерархии героических деяний. Сложность такой адаптации — в сомнительной легитимности большевистской власти.

Существует множество вариантов «советизации» сусанинского мифа. В. Зазубрин, например, просто вывернул классический сюжет наизнанку. В его романе «Горы» (1933) старик Аким Ильич, повторивший подвиг Сусанина, получает у красных партизан шутовское прозвище «Жизнь за без царя». Тоньше решает задачу трансформации героического мифа М. Ромм. Кульминационный эпизод фильма «Ленин в Октябре» (1937) — попытка ареста лидера большевиков в канун переворота. Пролетарского вождя спасает безымянный водитель грузовика, увезший группу захвата далеко от ленинского убежища. Нового Сусанина, разумеется, убивают, умирая, он патетически восклицает «Да здравствует Ленин!» Офицеры и юнкера согласно логике классового конфликта фактически превращены в фильме М. Ромма в иноземных захватчиков, а проспекты Петрограда, как оказалось, мало чем отличаются от костромских лесов XVII века — без проводника и здесь не обойтись.

Для маленького человека участие в спасении/устранении вождя — далеко не единственный способ воздействия на «большую» историю. Более сложный вариант влияния — информационный.

В. В. Тихонов в статье, посвященной послевоенной исторической науке, приходит к достоверному выводу об особом значении «маленького человека» в идеологических кампаниях сталинского периода: «Являясь частью механизма функционирования социальной и идеологической системы, «маленькие люди» превращались в грозное орудие. Сам факт того, что к сигналам снизу внимательно прислушивались, должен был свидетельствовать о демократичности советского строя».

На деле, признание особой роли «маленького человека» в истории означало отход от марксистской концепции непреложной законосообразности общественных процессов.

В романе В. Ильенкова «Большая дорога» (1949), удостоенном в 1950 году Сталинской премии третьей степени, Гитлер нападает на СССР, узнав из шпионского донесения, «что Россия — это миллионы Тимофеев, жаждущих второго пришествия частной собственности». Борис Протасов, рассказавший немецкому шпиону Фуксу о «Тимофее-собственнике», несомненно, «не предполагал, какие важные последствия будет иметь эта легенда», однако, именно его пьяная болтовня изменила историю.

Симптоматично, что, когда действие романа переносится в кабинет Гитлера, писатель упорно именует его «человечком»: «Человечек вынул из портфеля папку с надписью „План Барбароссы“, начал читать...»; «Человечек подошел к столу, сел и написал на обложке доклада: „Жребий брошен!“» и др. То есть, по В. Ильенкову, фюрер и есть настоящий «маленький человек», тщетно пытающийся направлять «большую историю».

Поздний соцреализм в некоторых аспектах удивительно схож с постмодернизмом. Как ни парадоксально, один из основателей русского постмодерна В. Войнович в романе «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1975–1979), по сути, воспроизвел схему В. Ильенкова, естественно, заменив Гитлера Сталиным. Москву от танков Гудериана спасает невольный самозванец солдат Чонкин, ошибочно принятый Гитлером за претендента на российский престол. Роль же псевдовеликого человека Сталина сведена В. Войновичем к нулю:

«Говорят, что в тот день немцы могли взять русскую столицу голыми руками.

Почему же они этого не сделали? <...>

Нередко приходилось слышать и о личных заслугах одного из второстепенных персонажей данного сочинения, я имею в виду, того, который сидел в метро. <...>

Нет, полностью отрицать заслуги того, который сидел в метро, я не буду. Он тоже свое дело делал: и трубку курил, и жирным пальцем глобус мусолил, указывая, куда какую кинуть дивизию и как наилучшим образом уничтожить живую силу и с той стороны, и с этой. <...>

Однако если говорить не о каких-то заслугах, а о выдающихся и решающих, то теперь мы знаем, что они принадлежат главному герою нашего скромного повествования, который в роковой час отвлек на себя танки Гудериана и таким образом спас столицу. И что с того, что ростом он невелик, лопоух и кривоног немного?»

Видный американский теоретик Ихаб Хасан в сводную базовую таблицу постмодернизма включил три характеристики, во многом определяющие историческую (точнее — квазисторическую) концепцию постнеклассической эпохи: «антинарратив / малая история», «игра», «случай». В отечественной литературе постмодернистский квазисторизм наиболее полное воплощение нашел, вероятно, в романе В. Аксенова «Остров Крым» (1979).

История, — говорит один из персонажей романа В. Аксенова полковник Сергеев, — сплошь и рядом противоречит вздору марксистских теоретиков «о нулевой роли личности». Рушится вера в догмы марксизма-ленинизма и у другого героя романа — Марлена Кузенкова. Наглядным опровержением марксистской философии истории стали события 20 января 1920 года, «когда против всей лавины революционных масс встал один-единственный мальчишка, англичанин, прыщавый и дурашливый. Встал и победил». Марлена Михайловича потрясает даже не столько тот факт, что судьба русской революции оказалась в руках «гимназиста-переростка», сколько отсутствие в поступках того какой-либо рациональной мотивировки.

«Какая чудовищная нелепость — паршивый мальчишка прервал мощный симфонический ход истории! Марлена Михайловича почему-то совершенно возмущало, что Дик Бейли-Лэнд в последовавшие за победой интервью настойчиво отклонял всяческие

восхваления, дифирамбы, всевозможные «пращи Давида» и собственный героизм. «Мне просто было любопытно, что получится, — говорил он газетчикам. — Клянусь, господа, у меня и в мыслях не было защищать Крым или русскую империю, конституцию, демократию, как там еще, уверяю, мне просто была любопытна сама ситуация — лед, наступление, главный калибр, бунт на корабле, очень было все забавно. Пожалуй, меня больше всего интересовала эффективность главного калибра в такой, согласитесь, уморительной ситуации». Здесь он обычно начинал сморкаться в платок с вензелями, и газетчики, захлебываясь от восторга, шпарили целые периоды о «британском юморе», но от «пращи Давида» все равно не отказались.

Как? — возмущался Марлен Михайлович. Даже без всякого классового сознания, без ненависти к победоносным массам, а только лишь из чистого любопытства гнусный аристократишка отвернул исторический процесс, просто моча ему в голову ударила».

А. К. Жолковский сравнивает ключевой для конструкции романа «Остров Крым» эпизод со сценой атаки на французов из романа «Война и мир», подчеркивая и сходство, и разницу. В. Аксенов, считает исследователь, переводит поступок героя «в план британского индивидуализма и спортивного экспериментаторства, с примесью «чистого любопытства» из Остапа Бендера. Что же касается роли личности в истории, то тут Аксенов идет вразрез не только с марксизмом-ленинизмом, но и с Толстым, у которого крупные исторические события тоже определяются действиями масс, а не отдельных героев, хотя бы и любимых».

В. Аксенов не зря акцентирует инфантилизм Бейли-Лэнда — «гимназиста-переростка», «паршивого мальчишки». Дети воплощают образ «маленького человека» буквально, поэтому, когда ход истории зависит от них, — это наиболее яркое выражение отсутствия исторической законосообразности.

В поисках альтернативных причин русской смуты начала XVII века Б. Акунин, подобно Ф. Искандеру и В. Аксенову, приходит к решению отдать историю в детские руки. Лжедмитрий I в «Детской книге» (2005) — советский пионер из шестидесятых годов, оказавшийся в прошлом: Самозванец, Революционер и Ребенок в одном лице.

Сергей Погодаев



Дары Алтая — богатство России. 1999.

Холст, масло. 110,5x135,5

К 60-летию художника

